

Андрей Колесников

НОВЫЙ МИРОВОЙ
(БЕС)ПОРЯДОК:
в ожидании
конца истории

Рига
2023

Идеи конца истории издавна описывали особенности мирового исторического процесса. Однако всякий раз после очередного «конца истории», нового витка благополучной глобализации или «золотых» лет (десятилетий) история начиналась заново, будь то Первая мировая война, катастрофа 9/11, пришествие Трампа, «спецоперация» Путина, да и в целом возвращение разрушительных и архаичных идеологий. Иной раз кажется, что наступил катастрофический период постистории. Тем не менее страховочный каркас цивилизации — универсальные ценности и демократические институты — удерживает мир от последнего шага в пропасть постистории. И это порождает надежды на то, что конец истории «в хорошем смысле» еще наступит.

Это издание основано на курсе лекций, прочитанных Андреем Колесниковым, старшим исследователем Фонда Карнеги, в рамках *SCE Advanced Programme 2021*. В нем прослеживается история концов истории, анализируются политические, социокультурные и мировоззренческие обстоятельства, которые способствовали или препятствовали государствам и обществам развиваться нормально или на время срываться в варварство.

Содержание

Пролог. Начала и концы истории и либерализма	5
1913–1946 — от заката Европы к горячим и холодным войнам	15
1946–1968 — золотой век и кризис капитализма.....	70
1968–1989 — конец истории (не первый и не последний).....	119
От 1989-го к 9/11 и пришествию Трампа: теперь точно всем конец?	137
Постистория: антропологическая катастрофа России.....	163

ПРОЛОГ. НАЧАЛА И КОНЦЫ ИСТОРИИ И ЛИБЕРАЛИЗМА

Начать следует с конца. Конца истории. В интервью *Financial Times* в июне 2019 года президент России заявил, что либеральная идея устарела. Похоронив либерализм вслед за десятками других политических деятелей и мыслителей, которые процветают то же самое на протяжении десятилетий, а то и больше века, он невольно срифмовал конец (с его точки зрения) либерального уклада с тридцатилетием объявления его полной и окончательной победы Фрэнсисом Фукуямой летом 1989 года в статье «Конец истории?» в журнале *The National Interest*.

«Закат Европы» за «Волшебную гору»

Конец истории, по Путину, не то чтобы не состоялся — ее консервативно-охранительно-государственническое завершение имело место многократно, в одном только XX веке несколько раз, в большей или меньшей степени трагическим образом, с большим или меньшим количеством жертв. Так что нынешний цикл, который мы, не зная, как определить, условно называем право- или левопопулистским, тоже будет иметь свое естественное окончание — маятник качнется в другую сторону. И присоединение Крыма — конец истории по-путински — тоже не заканчивает исторический процесс. Не ставит на нем крест даже «специальная военная операция» в Украине, хотя теперь погружение России в антропологическую катастрофу окажется долгим и глубоким, а всплывать придется с большими издержками...

Путин в своих оценках опоздал на несколько лет: и характер общественных настроений, и особенности осмысления происходящего интеллектуалами, и результаты выборов, в том числе последних европейских, показывают, что свой пик неоконсервативная волна на Западе, скорее всего, прошла, хотя она может еще и вернуться. И актуальна уже не формула болгарского политического мыслителя Ивана Крастева второй половины десятих годов XXI века — «после Европы», актуален вопрос: каким будет Запад после еще одного кризиса, во многом — из-за украинской бойни — беспрецедентного, который он переживает прямо на наших глазах? Тот самый Запад, который «закатывается» со времен Освальда Шпенглера и все никак не закатится, всякий раз выходя из нового кризиса обновленным — в 1945, 1968, 1989-м.

То, что произошло в 1989-м — обвал коммунистической системы и казавшееся триумфальным шествие западной политической демократии и свободного рынка как модели для всего мира, — оказалось по формуле того же Шпенглера «мнимой вершиной прямолинейно восходящей истории», «возрастной ступенью» в «созревшей культуре».

Добро же Шпенглеру было заканчивать свой титанический труд в 1922 году в Бланкенбурге у подножия Гарца, утопавшего в маковых полях, а Томасу Манну переселять персонажа «Волшебной горы» из давосского санатория на другие поля — Первой мировой: эрозия Европы приобрела отчетливо контрастные варварские формы. Закат состоялся, но начался и рассвет, что не исключило целой череды новых закатов и рассветов. На то и кризисы, чтобы из них выходить.

У каждого свой конец

Всю свою карьеру после 1989 года Фрэнсис Фукуяма, бывший работник Госдепартамента, ставший самым знаменитым политическим ученым посткоммунистической эпохи, был вынужден оправдываться за свой заголовок. Всякий раз он напоминал, что в заглавии его статьи о конце истории (правда, не в заглавии последовавшей за ней в 1992 году книги *The End of History and the Last Man*) стоял вопросительный знак, чего нельзя сказать о «Закате Европы» — Шпенглер был не из сомневающихся.

Фукуяма и сам предложил более нюансированный анализ происходящих в истории процессов в двухтомнике *The Origins of Political Order* и *Political Order and Political Decay*, а в 2018-м выпустил книгу, по сути дела, о причинах «конца конца» истории и истоках современного популизма — *Identity. The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. Закаты же и рассветы Запада (без одержимости рассуждениями о либерализме) стали предметом других многочисленных работ, в том числе бестселлеров *Why Nations Fail* Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона и *Civilization. The West and the Rest* Найала Фергюсона.

Если дать себе труд почитать аутентичного Фукуяму, то станут очевидны и его прекраснодушные иллюзии, которые, вообще говоря, в 1989 году были естественными, и вполне сдержанный анализ того, что происходило, происходит и может произойти. «Конец истории» — метафора, причем далеко не новая, идущая от Гегеля и Маркса, просто Фукуяма нашел правильное время, чтобы наклеить на период падения коммунистической системы этот ярлык, не более того.

Собственно, речь шла не о конце истории как таковом — в том же 1989-м много чего происходило архаичного и варварского, от событий на площади Тяньаньмэнь до фетвы в адрес Салмана Рушди, — а о конце коммунистической системы.

Прекраснодушие Фукуямы в 1989-м, в *annus mirabilis*, вполне объяснимо. Более того, его можно назвать пророческим: к моменту появления статьи уже состоялся вывод советских войск из Афганистана, первые относительно свободные выборы в СССР, круглый стол в Польше, но еще не начался шквал «бархатных революций» почти во всех странах Восточной Европы, не рухнула Берлинская стена, не протянулась многокилометровая «балтийская цепь», символическим образом закончившая с советским периодом в странах Балтии, не была дана жесткая политическая оценка пакту Молотова — Риббентропа и вводу советских войск в Афганистан. Все это тогда лишь предстояло и затем самым наглядным образом подтвердило правоту Фукуямы.

Либеральная демократия, по Фукуяме, победила коммунизм и фашизм, стала конечной точкой идеологического развития человечества и, говоря сегодняшним языком, лучшей из управленческих практик. «Я использовал слово “история” в гегелевско-марксовом смысле, имея в виду развитие и модернизацию, — оправдывался стэнфордский профессор в своей книге “Идентичность”. — Слово “конец” я использовал не в значении “завершение”, а в значении “цель” или “задача”» (здесь и далее перевод Фукуямы мой. — А. К.).

В 1989-м Фукуяма утверждал, что либерализм победил в сфере сознания, но ему еще далеко до победы в материальном мире, хотя ход последующих событий показал, скорее, обратную зависимость. Спустя почти три десятилетия он признавался, что превращение мира в условную «Данию» (*getting to Denmark*) оказалось процессом гораздо более сложным, чем он предполагал, а либеральная демократия иногда способна приходить в упадок или вообще возможно реверсивное развитие.

Впрочем, как раз с гегельянской точки зрения Фрэнсис Фукуяма не ошибся. Свободный рынок эффективнее государственного капитализма, буржуазная эволюция лучше, чем

происходящая на наших глазах неоконсервативная революция. Просто либеральная эволюция продолжается, не говоря уже о том, что естественными элементами истории являются серьезные отклонения от нормативных моделей. Скорее, можно вести речь не о конце истории, а о «концах истории», коррекции в развитии.

Главный гегельянец XX века Александр Кожев еще во второй половине 1930-х годов обозначил концом истории начало XIX столетия. Спустя два десятилетия в строительстве европейского общего рынка он обнаружил еще одно подтверждение своей правоты (а в 1952-м Конрад Аденауэр заявил, что общей идеологией может стать только «идеология Европы»). В 1923 году Эдмунд Гуссерль увидел в «европейском культурном усилии» финальную точку развития человечества.

Правда, европеизация у каждого оказалась своя — у кого-то осуществилась в образе сталинской индустриализации, у иных, как у Мартина Хайдеггера, ученика Гуссерля, предавшего учителя, свелась к народному духу, воплощенному в его убежище, *die Hütte*, в горах Шварцвальда. Народный дух у него трансформировался в национал-социалистический.

Всепобеждающий ресентимент

Если оценивать сегодняшний день с позиций «антиконца истории», можно согласиться с Иваном Крастевым в том, что идеология западного универсализма потерпела двойное поражение: ставятся под сомнение ценности 1968 года, права человека и права меньшинств (ибо на сцену вышло его величество большинство — когда-то молчаливое, а теперь обретшее голос и представительство), и идеи 1989-го — слияния наций в либеральных посткоммунистических универсалистских объятиях (политическая демократия и либеральная глобалистская рыночная экономика).

Катастрофа 9/11 объявила новую эпоху — период гибридной войны проигравших от конца истории с победителями образца 1989 года, заикленными на своем евроатлантизме и не замечавшими, в терминах Найала Фергюсона, *the Rest*, весь остальной мир.

Нациям, временно попавшим под влияние Запада и в 1989 году обретшим свою идентичность именно как западную (потому что она противопоставлялась коммунистической идентичности — национальные революции 30 лет назад были одновременно либеральными), надоело жить в мире, который они вдруг оценили как чужой и имитационный. Началась эра вставания с колен, понимания всего посткоммунистического периода как унижительного для национального самосознания и поисков новой, «подлинно» традиционалистской идентичности.

Фукуямовский «последний человек», расслабленно вкушавший плоды глобализации и либерализации, оказался неспособным не то что справиться с вызовами национализма, традиционализма, консерватизма, а хотя бы просто их заметить — как раз потому, что считал себя «последним», венцом «конца истории». А между тем в статье 1989 года Фукуяма, надо отдать ему должное, предупреждал о двух рисках для триумфального шествия либерализма — национализме и религии.

В «Идентичности» профессор попытался разобраться с природой популизма: «Современные либеральные демократии не смогли полностью решить проблему *thymos*. *Thymos* — это та часть души, которая взыскует признания достоинства; *isothymia* — это желание быть уважаемым на равной основе с другими людьми; а *megalothymia* — это стремление к признанию своего превосходства над другими».

Целые нации, продолжает Фукуяма, попали в ловушку *isothymia* — они не чувствовали себя равными тем нациям и институтам, которые установили правила либеральной

демократии. *Megalothymia* — это то, от чего невозможно избавиться, но что можно сдерживать.

Нации, которые чувствуют себя униженными, начинают искать свою идентичность в «мегалотимических» лидерах, канализирующих массовую обиду, ресентимент. Появляются Цезарь, Гитлер, Перон, ну и в наших обстоятельствах, например, Трамп. И тогда торжествует политика идентичности. Она самая эффективная. С ее помощью берут власть. Именно «мегалотимией» одержим Путин и те, кто его поддерживает в квази-патриотическом угаре.

Конец популизма?

Так ли все фатально, ужасно и безысходно? Действительно ли, как сказал Владимир Путин, ставший «Фукуямой наоборот», «либеральная идея изжила себя окончательно»?

Приравнивание либерализма и модернизации к европеизации или, шире, вестернизации — вот что неизменно остается в центре многолетних дебатов, сегодня обострившихся. Вестернизация, капитализм западного типа провалились — тезис не нов, но звучит-то как новый.

Однако, во-первых, капитализм не раз с 1945 года переживал серьезные кризисы, причем не только экономические и не столько политические, сколько социокультурные, — кульминацией стал 1968 год. Всякий раз он выживал: казавшаяся ригидной конструкция западной демократии и буржуазных ценностей великолепным образом переварила контркультуру 1960-х и, обуржуазив ее, продолжила движение к другой точке своей эволюции — тому самому 1989 году.

Наверное, уж если в 1968-м буржуазная цивилизация справилась с тем, чтобы инкорпорировать левые ценности, то и в наше время она сможет стерилизовать правопопулистскую волну. Во всяком случае, предсказанного Иваном Крастевым

превращения Европы в «союз нелиберальных демократий» пока не произошло.

Во-вторых, если сильно упрощать, противопоставляются, как всегда, «столбовая дорога цивилизации» (равная концу истории, по Фукуяме) и особый путь (с его разновидностями — от русской «духовности» до исламского фундаментализма). Исторические примеры показывают, что особый путь, как правило, заканчивается массовыми убийствами и ГУЛАгами разных оттенков красно-коричневого и черного (что подтверждается «спецоперацией» в Украине 2022 года), а конструкции вечно загнивающего, но не обрушивающегося до основания западного универсализма отличаются высокой степенью гуманности и рациональности.

Можно до бесконечности погружаться в детали, говорить, что универсальные либеральные модели ведут к возникновению наций системы «скопировать — вставить» (*copypasted nations*), которое и провоцирует консервативно-популистскую волну. Или толковать — что тоже небессмысленно — об имеющем как минимум полуторавековую историю противостоянии *Gemeinschaft* (общинно-локального сознания) и *Gesellschaft* (универсализма и открытости миру).

Или говорить — в терминах Фреда Риггса — о половинчатых обществах, результате «призматической модернизации», когда страна, уже не являющаяся традиционалистской, так и не становится современной в подлинном смысле слова. О гибридных режимах, наконец. Но в итоге речь идет о простой дихотомии: варварски подавляющие режимы и открыто гуманные. И в этом смысле, сугубо с человеческой точки зрения, в обществах и государствах фукуямовского «конца истории» как-то приятнее, сытнее и вольготнее жить.

Если признать, что наша цель — не коммунизм, то, наверное, фукуямовское целеполагание весьма осмысленно. Хотя, естественно, на этом пути возникают многочисленные

препятствия, и, как однажды иронически заметила героиня Виктора Пелевина в «Священной книге оборотня», имея в виду некоторые нюансы постсоветского исторического пути России, «вряд ли история кончится из-за того, что несколько человек украли много денег. Даже если эти несколько человек наймут себе по три Фукуямы каждый».

Нынешний российский политический режим отказывает либерализму в праве на существование. Причем во внутренней политике это становится основой практических действий. У каждого свой благостный «конец истории», и для путинского режима он состоялся в 2014 году, в момент присоединения Крыма, а затем повторился — уже в «обнулении» президентских сроков Путина и в кошмарной «спецоперации». Кажется, мир изменился до неузнаваемости, ужасу не будет конца, Россия обречена на долгий упадок и антропологическую катастрофу.

Но, вступая в эпоху «постконца истории», политическая система, целеполагание которой свелось к «строительству светлого прошлого», испытывает некоторые трудности.

Не наступает ли окончание «конца конца истории»? Иными словами, не вернется ли либерализм после всего того, что нам еще предстоит пережить в ближайшие годы, в том числе и в результате катастрофы февраля 2022-го? Опыт показывает, что слишком звонкое объявление о кончине социально-политического явления, как правило, знаменует начало его возрождения. А выход из антропологической катастрофы России все равно придется искать. Другого пути, кроме либерального, все равно нет — иначе из ямы не выбраться никогда.

1913–1946 — ОТ ЗАКАТА ЕВРОПЫ К ГОРЯЧИМ И ХОЛОДНЫМ ВОЙНАМ

«Конец истории» — это одно из гипнотизирующих понятий, таких же абстрактных, как «популизм». Например, когда мы не знаем, как обозначить происходящие события, или когда испытываем ужас перед ними, то всегда наклеиваем на них какие-то ярлыки, не будучи в состоянии объяснить их природу. «Конец истории» — именно такого рода термин.

Историю «концов истории» можно разделить на четыре части.

Первая часть — 1913–1946 годы. Этап, который историк Эрик Хобсбаум обозначал как эпоху нескончаемой войны. Перерыва в войне, по сути, не было, а состоялась небольшая передышка. Первая мировая и Вторая мировая слились в один длительный период. Притом что до 1913 года случился первый, вполне внятный конец истории — государства западной цивилизации достигли того уровня благополучия, который унифицировал сравнительно высокий уровень жизни зародившегося среднего класса и, казалось бы, уже не предполагал войн.

Период 1946–1968 годов. Послевоенное строительство нового миропорядка. Де-факто — новый конец истории, потому что в Европе и в англосаксонском мире лидеры и народы пришли к ценностному согласию по поводу того, как строить, по сути переучредить, государства, чтобы не было войны и возможности регенерации фашизма. Началось благополучное тридцатилетие, когда появилась модель государства всеобщего благоденствия, эпоха обуржуазивания низших классов, переходивших в классы средние. Однако этот период был исправлен и дополнен 1968 годом, когда на сцену вышли контркультура и антибуржуазность, когда буржуазное благополучие было не сметено, но скорректировано тем, что мы абстрактно называем студенческой

революцией. На самом деле это более широкое, не сводящееся к студенческим протестам явление, которое Ричард Вайнон определил как «долгий 68-й год».

Следующий период — 1968–1989 годы. 1989-й — явный конец истории, потому что на глазах разваливалась коммунистическая империя вместе со своей зоной влияния. Казалось, возникало согласие относительно универсальности западных ценностей, началось строительство капитализма в странах, относящихся к коммунистическому лагерю.

Но потом история вернулась и началось движение от 1989 года в эпоху новой турбулентности — к катастрофе 9/11, к пришествию Трампа и лидеров схожего типа — породы *troublemakers*; движение к популизму, неоконсерватизму и путинизму, к осознанию изменения климата и необходимости энергетического перехода, к пандемии коронавируса, к тому хаотическому, опасному, неясному состоянию, в котором мы сейчас обнаруживаем себя. К катастрофе «специальной военной операции», наконец.

Возможно, сейчас мир находится внутри периода, который тоже можно назвать концом истории, но только в плохом смысле слова, то есть «концом вообще всему» с непонятными перспективами.

«Конец истории» начинался с Гегеля. Как раз Георг Вильгельм Фридрих Гегель обозначил первый «конец истории» как состояние, в котором утвердились общие ценности. Это понятие появляется в «Лекциях по философии истории», где он констатировал: «...принципы свободы собственности и личности стали основными принципами. Доступ к государственным должностям открыт каждому гражданину, но умение и пригодность являются необходимыми условиями». Замечательное, высококачественное и высокодуховное состояние человеческого духа, человеческой природы и породы.

Потом, в XX веке, исследователь гегелевской философии Александр Кожев тоже поиграл с «концом истории». Напоминая о том, что Гегель считал 1806-й — год победы Наполеона под Йеной — концом истории (потому что пришел человек, который

принес «европеизацию мира» — единые в наших сегодняшних понятиях демократические ценности, и расширилось пространство универсальной революционной силы), Кожев усмотрел новое окончание исторического процесса в объединявшейся после Второй мировой войны Европе. (А до этого, в 1945-м, впрочем, настаивал на формировании послевоенного латино-католического союза Франции, Испании и Италии, *L'empire Latin.*)

Первый общепризнанный конец истории состоялся до Первой мировой войны (хотя так его не называли). Это состояние обозначено как «золотой век надежности». Интересно, что «веком», или «золотым веком», обычно называют период спокойствия, хотя он длится, как правило, всего несколько лет. Конец истории совпал с глобальными процессами, иначе бы он не воспринимался как конец или пик. По сути, речь можно вести о первой глобализации — 1870–1914 годы: это период промышленного капитализма, «эра благоразумия» (как писал Стефан Цвейг) и подлинного космополитизма. (Паспортный контроль существовал только в Турции и России.) Кто-то заметил, что в те годы в Европе государство представало перед гражданином исключительно в виде почты и полицейского. Такое было мягкое, правильное государство — идеал, тем более недостижимый сегодня, в эру всеобщего контроля и наблюдения со стороны Большого Брата, в эпоху, которую сам Фукуяма склонен называть «демократической рецессией».

Характерно, что этот мир был европоцентричным, европейский образ жизни оценивался как часть глобализации. В нем еще существовали империи, в том числе претендующие на некоторую универсальность ценностей, поднимался новый мировой игрок — США. Европа всегда считала себя законодателем мод всего мира, мы жили и живем в европоцентричной вселенной, и это считается изъяном западного видения мира. Тем не менее именно там, в евро-атлантическом регионе, действительно образовалось нечто, что можно было бы назвать неким воплощением «конца истории». И многие тренды, которые тогда наблюдались, по своей тональности и даже смыслу очень похожи на

сравнительно недавнее время, когда тот самый евро-атлантический мир достиг универсального согласия, — по Фрэнсису Фукуяме, в 1989 году.

В 1909 году, как раз во время пика первой глобализации, Томас Манн написал сравнительно небольшой роман «Королевское высочество». В нем рассказывается о воображаемом королевстве в Центральной Европе, где по-прежнему правит аристократия, страна находится в упадке, — часто встречающийся в литературе и искусстве центральноевропейский мотив, немецкий или австро-венгерский. Интересно, что эта книга — своего рода пособие по адекватному государственному строительству во время кризиса, а также руководство, как сказали бы мы в 1990-е годы, по монетаризму. В королевстве падают доходы бюджета, не с чего собирать налоги, нечем платить жалование (как это было во многих постсоветских странах в период транзита), нужно этот бюджет балансировать, а он не балансируется, короли-принцы не могут понять, как себя вести в этой ситуации. И тут приезжает на воды богатый американец с дочерью, которая изучает точные науки (что важно). И принц этой воображаемой страны, аристократ, выполняющий в основном представительские функции, влюбляется в нее. В результате все обустраивается столь благополучно, что и отношения между мужчиной и женщиной постепенно сложились, и папу-богача из Америки привлекают к финансированию страны. То есть возникает внешняя спасительная сила, олигарх, который избавляет страну от финансового коллапса, начинает вкладывать деньги в развитие разнообразных проектов, но в обмен на наведение порядка в государственных финансах. Абсолютно современная история. Заканчивается сказка — а это, несомненно, сказка — свадьбой принца, который становится руководителем страны, и наследницы олигарха, которая, к слову, в совершенно современном духе олицетворяет расовое разнообразие: в ней есть индейская кровь. Старая аристократия соединяется с новой буржуазностью и рациональностью, недаром богатая невеста изучает математику. Когда женятся принц и дочь олигарха, они говорят о

том, что это все делается ради общего блага. По сути, возникает и торжествует понятие «республика» — как «общее дело», *res publica*. Под звон старинных колоколов и с уважением к аристократическим старомодным традициям эта страна входит в эпоху процветания и олицетворяет собой сказочную модель конца истории в представлении начала XX века. Словом, Томас Манн в 1909 году выступил в роли Фрэнсиса Фукуямы 1989 года.

Впрочем, ощущение конца и пика в литературе того же макрорегиона, особенно после опыта мировой войны, пришедшего позже, полнится сомнениями и разочарованиями. Роберт Музиль много лет сочинял свой *opus magnum*, роман «Человек без свойств», где описал государство Каканию, то есть Австро-Венгрию начала века: «Она была по своей конституции либеральна, но управлялась клерикально. Она управлялась клерикально, но жила в свободомыслии». Такая амбивалентность вроде бы благополучного конца истории: с одной стороны, все хорошо, с другой — все плохо.

Но, главное, мало кто ждал, что конец истории и смягчение нравов быстро обернутся своей противоположностью. Началась Первая мировая война. Тогда казалось, что она невозможна, потому что цивилизованный мир был связан торговыми путями, финансовыми транзакциями — какая война могла быть в этом замечательном мире? Но она оказалась возможной по странному поводу, сопровождалась мерзкой «патриотической» волной, охватившей каждую из стран, разрушением норм человеческого общежития и стремлением к смерти. Первая мировая — это крушение буржуазной либеральной цивилизации эпохи конца истории.

Закончился период утопий: глобализацию сменила глобальная война, по торговым путям пролегли окопы, пошли танки и распространился смертоносный газ. Война привела к тому, что начались революции и развалились — кто раньше, кто позже — империи (кроме Британской, которой, впрочем, тоже недолго оставалось жить). Из войны мир вышел во фрагментарном, разорванном состоянии.

В это время Шпенглер пишет книгу «Закат Европы», где говорит о том, что европоцентричность и представления о буржуазном мире как высшей стадии развития человечества — это чрезвычайно узкий взгляд, развитие многих цивилизаций происходит параллельно и нелинейно. И вообще, Европа «закатывается». Наряду с не до конца отрефлексированной идеей конца истории возникает один из самых популярных в общемировом дискурсе, в том числе сегодня, тезисов — идея заката: Запада, Европы, либерализма, капитализма (а позже — еще и доллара!). Как и идеология конца истории, идея заката кочует «через миры и века» от Шпенглера до Путина — периодически объявляют о конце всего перечисленного. Но Европа, как и начинающаяся заново история, вместе с капитализмом и либерализмом преодолевает свои закаты, выходит из кризисов обновленной и начинает возрождаться.

Иван Крастев опубликовал свою книгу «После Европы» в 2017 году, когда казалось, что популистское цунами может разрушить европейский проект. Но Европа удержалась на плаву — сработала институциональная и ценностная страховочная сетка. Соединенные Штаты спаслись благодаря работающим институтам американской демократии и системе сдержек и противовесов.

Можно говорить о некоторой цикличности концов и закатов. Наши сегодняшние академические и публицистические дискуссии почти текстуально повторяют споры рубежа конца XIX — начала XX века. То, о чем мы говорим сейчас, уже проговорено. Знаменитая публицистическая работа философа Владимира Соловьева «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» (1900) — это разговоры сегодняшних интеллектуалов друг с другом и с оппонентами в клубах (до путинского вторжения в Украину), кафе и социальных сетях.

У Томаса Манна в «Волшебной горе» бесконечно спорят между собой реакционер Нафта и прекраснодушный либерал Сеттембрини. На смену спорам приходит кошмар Первой мировой. В наше время разговоры проходят сквозь толщу истории и события такого разряда, как террористическая атака на Нью-Йорк (9/11),

взятие Крыма, победа Трампа, сохранение авторитарными режимами устойчивости (например, в Беларуси, Венесуэле, России), российская «спецоперация»...

А вот Шпенглер в декабре 1917 года закончил предисловие к первому тому «Заката Европы» следующими словами: «Мне остается только добавить пожелание, чтобы эта книга не выглядела совершенно недостойно рядом с военными успехами Германии». Вот вам конец конца истории, закат Европы в ужасах всеобщей бойни, но и интеллектуальный закат Шпенглера. Как и Манна, написавшего ура-патриотические «Размышления аполитичного». Как и в дальнейшем нацификация Мартина Хайдеггера, перепрыгнувшего из постели юной студентки-еврейки Ханны Арендт в кресло университетского ректора, носящего на рукаве свастику. Важны военные успехи, торжество нации, тотальное, по Муссолини, государство — вот к чему скатилась цивилизация. Начался период возникновения и господства тоталитарных доктрин, в том числе вульгарной версии марксизма.

Пришла эпоха постконца истории с его войнами и революциями. Эрик Хобсбаум считал, что XX век в подлинном значении слова начался с русской революции и закончился развалом СССР. Получается, что, по сути дела, история XX века равна историческому пути Советского Союза.

Наступает век навязчивого «производства доктрин». Приходит эпоха тоталитаризма, тотального государства, где его сила, деньги, мнение являются определяющими и обязательными. Кроме того, мировая бойня оказала тяжелейшее психологическое влияние на умы не только в том смысле, что люди стали привыкать к самой идее войны, и не только потому, что люди, побывавшие в окопах, потом стали поддерживать фашистские и ультранационалистические идеологии. Война обезличила противника — это вообще ее свойство — и резко понизила цену отдельной человеческой жизни. Иные могли говорить: «Да я в целом неплохо отношусь к евреям, у меня есть друзья евреи» — и при этом участвовать в практической реализации Холокоста. Ведь когда смотришь через прицел, перед тобой не

твой «друг еврей», а враждебная, неразличимая масса, по ней и стреляешь. Кто-то назвал это явление «обезличенной жестокостью дистанционных решений». Когда Сталин принимал решение уничтожить определенное число «врагов народа» или Трумэн давал команду сбросить атомную бомбу, они думали не об отдельных человеческих жизнях, а о людях как обезличенной массе, бессмысленных и вредоносных икринках. Такому восприятию и таким решениям способствовал опыт войн первой половины XX века — мировых и гражданских. И началось все с Первой мировой.

Тем не менее в промежутке между двумя войнами был период, когда казалось, что восстановилась мировая финансовая система и дух коммерции снова будет способствовать смягчению нравов и движению к правильному концу истории. Опять все не так плохо, приходит время радио, кино, джаза, глубокой печати, журналов, акции на рынках растут. Наблюдается своего рода «отскок» к нормализации. Но опыт не учит ничему, повторяется типичная история: как только наступает самоуспокоение, спустя день-два-неделю начинается катастрофа. В случае 1929 года — мировая экономическая.

Наряду с Первой мировой войной экономическая катастрофа 1929 года очень помогла распространению того, что мы сейчас абстрактно назвали бы популизмом. В то время это называлось фашизмом или коммунизмом. Тогда тоже боролись с либералами и либерализмом. Треугольник «коммунизм — фашизм — либерализм» развалился, потому что в результате насильственных действий отпал один элемент — либерализм.

Свой скоротечный конец истории был и у раннего Советского Союза — это Конституция 1936 года. Это чуть раньше произнесенная фраза Сталина: «Жить стало лучше, жить стало веселее». Сталин мог себе позволить поиграть в демократию, хотя бы фиктивно, и великодушно зафиксировать вхождение советского режима в стадию зрелости. Но именно после провозглашения фасадной «демократической» Конституции началось самое тяжелое время с точки зрения репрессий — 1937–1938 годы. Вот

опять: вроде бы люди самоуспокоились, стали недоверчиво или с энтузиазмом изучать собственные права, записанные в этой Конституции. Многие начали даже свободно дискутировать и пытаться пользоваться бумажными правами и тем самым выдали себя — тут-то их и прихлопнули... В 2020 году в России тоже приняли новую версию Конституции. Это было признаком нового конца истории — путинский период достиг своего пика в рамках проекта *Russia-Great-Again*, — а также свидетельством того, что начинается новый репрессивный период. И он начался. А за ним — и саморазрушительный акт под названием «спецоперация». Конец — всем концам конец...

Следующий этап истории конца истории: начинается Вторая мировая война. В 1941 году Черчилль и Рузвельт подписали Атлантическую хартию, к которой присоединилось много стран, включая Советский Союз. В ней содержались вполне либеральные идеи... Тирану было все равно, что подписывать: он никогда не воспринимал всерьез все эти документы. И когда в ходе Второй мировой войны состоялись договоренности о том, что Восточная Европа будет находиться под совместным контролем союзников и в восточноевропейских странах обязательно пройдут демократические выборы, Сталин легко с этим соглашался. Он прекрасно понимал: если туда ступит нога красноармейца, то никаких демократических выборов не будет, что он потом и продемонстрировал, в частности, в Румынии, Польше, Чехословакии.

Таким вот образом благодаря Атлантической хартии и усилиям прежде всего двух англосаксонских государств возник «Запад». Сформировалась и собственно «идея Запада»: образовалась она «от противного» — ввиду необходимости противостоять фашизму. Коммунизму — тоже, но не сразу, потому что Сталин до 1946 года считался союзником, хотя в 1945-м с союзничеством уже было покончено.

С 1943 года, после Тегерана, потом и после Ялтинской конференции 1945 года Сталин нарушал все возможные договоренности. И стало понятно, что послевоенное противостояние

сталинского СССР и оформившегося Запада неизбежно. Между Сталиным, Черчиллем и Рузвельтом пройдет водораздел. Символическим образом, словно подводя итог союзничеству, умрет в 1945 году Франклин Делано Рузвельт. Черчилль перестанет быть премьер-министром Британии к моменту окончания Потсдамской конференции. Уже осенью 1945-го Сталин накажет неправильно понявшего политику партии и правительства Молотова за то, что тот допустил отмену цензуры для корреспонденций иностранных журналистов.

1946-й — начало холодной войны. Она будет существовать в декорациях еще одного золотого века: послевоенного восстановления Европы, гуманизации (на Западе) представлений о мире, формирования конституций европейских стран, основанных на универсальных гуманистических ценностях.

Вебер, Шумпетер, Маркс и Стоппард

Вечнозеленое учение в анатомическом театре истории

В 1918 году в венском кафе «Ландтман», что неподалеку от университета и Бургтеатра, на глазах у коллег спорили одни из самых влиятельных мыслителей XX века, Макс Вебер и Йозеф Шумпетер. Беседа проходила в духе булгаковского разговора Воланда и Канта: «Ведь говорил я ему тогда за завтраком: “Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут”». Шумпетер, указывая на пример большевистской России, радостно рассуждал о том, что наконец-то разговор о социализме из бумажной дискуссии превращается в практический эксперимент. Дальше мы можем представить спор двух классиков в духе драматургии Тома Стоппарда. Например, так:

Вебер (*тылко*). Попытка ввести социализм в России — преступление, и она закончится катастрофой!

Шумпетер (*холодно и отчужденно, прихлебывая кофе со сливками*). Такое может случиться, но, коллега, Россия представляет собой прекрасную лабораторию.

Вебер (*кричит*). Лабораторию с горой трупов!

Шумпетер. Как и любой анатомический театр.

Вебер (*кричит на всю кофейню, люди за столиками оборачиваются на него*). Это невыносимо! (*Выбегает на Рингштрассе.*)

Шумпетер (*раздосадованно*). Ну разве можно так шуметь в кофейне!

Собственно, этот исторический разговор известного своей чрезмерной вспыльчивостью Вебера и автора тезиса о «созидательном разрушении» Шумпетера подытожил — причем задолго до того, как социализм ленинского, сталинского, политбюрошного, маоистского, краснокхмерского и т. д. типов широко

обозначился на карте мира и в удручающей демографической и экономической статистике, — результаты практического применения учения Маркса, которое, согласно бессмертной формуле одного его последователя, «всесильно, потому что оно верно». Учение к этому итогу шло уверенными шагами, хотя сам Маркс в беседе с лидером французских социалистов Жюлем Геддом, мужчиной с грустными глазами панды, раздраженно заметил, что разработал теорию, а не учение для сектантов. И добавил: «Верно лишь то, что я — не марксист!»

И вполне очевидно, что не марксист-ленинист. Давид Рязанов, основатель Института Маркса и Энгельса, впервые опубликовал на русском языке «Экономическо-философские рукописи 1844 года» немарксистского Маркса. По совокупности заслуг и за фразу: «Ну, Коба, все знают, что теория не твоя сильная сторона» — он был умерщвлен в 1938-м. Кстати, в тот же год большого террора сгинул сын Германа Лопатина, первого переводчика «Капитала» Маркса на русский, Бруно Лопатин-Барт, известный до революции адвокат, масон и эсер. Марксистский режим неистово избавлялся от интеллектуальных наследников Маркса.

Карл Маркс, в принципе, умер в многочисленных «марксизмах», как называет это явление автор книги «Маркс и марксизм» Грегори Клейс.

Вы никогда не обращали внимания, что на всех фотографиях лохматая голова Маркса кажется чужой его телу, как на неумелом коллаже? Таким вот образом его и приспособливали всякий раз к различным обоснованиям практических действий, как правило ведущих к значительным человеческим жертвам.

Участившиеся разговоры о «возвращении Маркса» ничего не стоят. Что значит «возвращение»? Сегодняшний капитализм Маркс не объясняет, в его блестящей публицистике можно найти множество удачных аллюзий на любой сегодняшний

автократический режим — и что? Мы же не говорим о возвращении Платона или Аристотеля. Это мировое философское наследие.

Впрочем, сегодняшний мир все еще имеет отношение к Марксу: теория формаций, теория классовой борьбы — с этим придется работать, как и с терминологическим аппаратом. Но в целом марксизм символически закончился с закрытием журнала *Marxism Today* в 1991 году, и, хотя после «конца истории» началась другая история, учение Маркса все-таки превратилось в *Marxism Yesterday*. А те, кому хочется проникнуть в суть современного капитализма с левых научных позиций, читают не «Капитал» Маркса, а «Капитал в XXI веке» профессора парижского *Sciences Po* Тома Пикетти.

Читать «Капитал» на любом языке сегодня — это все равно что знакомиться с фрагментами Библии на арамейском: этим тайным знанием владели почти исключительно советские политэкономы, такие специальные люди, которые знали «Капитал» близко к тексту. Что вполне объяснимо: это, собственно, и было единственной научной частью во всей вымышленной политэкономии.

На логике «Капитала» Маркса тренировались и лучшие отечественные философы. Работу Эвальда Ильенкова «Диалектика абстрактного и конкретного в “Капитале” Маркса» собирался печатать сам публикатор «Доктора Живаго» Бориса Пастернака Джанджакомо Фельтринелли (он, кстати, был марксистом прямого действия и плохо кончил, превратившись в красного террориста, якобы «подорвавшегося на своей взрывчатке»). Набор книги в издательстве «Наука» был рассыпан, Ильенков получил партийный выговор; правда, борьба за официальное издание увенчалась успехом в 1960 году. Потом, впрочем, Эвальду Васильевичу совсем перекрыли кислород: ключевые статьи, в том числе «Маркс и западный мир», было запрещено публиковать. Эта статья готовилась

как выступление на конференции в США, куда, естественно, Ильенкова не пустили. Начинается она весьма симптоматично: «Я думаю, что организаторы симпозиума поступили совершенно правильно, предложив рассматривать идеи Маркса как таковые, в их первозданно-оригинальной форме, строго абстрагируясь при этом от всех позднейших интерпретаций и практически-политических приложений этих идей». Ничего более страшного сказать о теории Маркса было нельзя: советский режим в основе своей имел именно «позднейшие интерпретации» и «практически-политические приложения».

Еще в одной загубленной статье Ильенкова, «О “сущности человека” и “гуманизме” в понимании Адама Шадфа», анализировалась теория отчуждения. Термин раннего Маркса, трактующий отчуждение продукта труда рабочего от самого рабочего при капитализме, приобрел гораздо более широкое понимание и значение. И оказался, например, в центре идеологии некоторых групп — тех, что поумнее, участвовавших в студенческой революции в Париже. Французские «ситуационисты» толковали об отчуждении, клеймя позором не только миллиардеров из Нью-Йорка и Токио, но и бюрократов из Москвы и Пекина. Спустя 11 лет после майской революции 1968 года 55-летний Ильенков воткнет себе в горло сапожный нож...

И у советской философии, и у французских революционеров мая 1968-го, и у советских подпольных антисталинских групп 1950-х годов, и у отечественного официоза не было иного языка, кроме марксистского. В поисках истины раскопки велись на территории «подлинного Маркса». А идеологический смысл горбачевской перестройки состоял в археологических экспедициях, своей целью имевших обнаружение «подлинного Ленина». Проблем с группами поисковиков, собственно, не было. Были персонажи вроде помощника Леонида Брежнева Виктора Голикова, который корябал на полях спичрайтерских заготовок: «Сегодня по Марксу живут в джунглях». Или

помощника Михаила Суслова Владимира Воронцова, создателя уникальной картотеки цитат Ленина на каждый случай жизни. А я лично знал людей кристально честных и патологически-бессребренически приверженных коммунистическому учению, которые цитировали по памяти Маркса с указанием тома из собрания сочинений и даже страницы. Вопрос был лишь в одном — в интерпретации.

Советский марксизм к концу своего существования уже перестал быть идеологией, потому что идеология предполагает наличие идей, а в нем остались только лишние слова, и потому поздний СССР оказался не идеократией, а логократией — властью слов.

Как сказал польский философ Лешек Колаковский о марксизме, «этот череп больше никогда не улыбнется». Марксизма нет и в современной России. Он ничего в ней не объясняет. Какое отношение к Марксу имеют сегодняшние коммунистические партийные проекты? К Сталину — да, но причем здесь Маркс? Социал-демократия же на российской почве не приживается. А теперь, когда социал-демократические партии испытывают жесточайший кризис на Западе, и не приживется. Невозможен в России и часто обсуждаемый «левый поворот»: нет у нас «нормальных» левых (как и правых), избиратель потребляет популистско-бюрократические коктейли, а не сугубо левые идеи. В конце концов, масштабы социальных расходов и доходов и присутствия государства в экономике таковы, что нынешний российский политический режим вполне можно признать левым.

Ницше провозгласил смерть Бога. В 1970-м ученик Клода Леви-Стросса Жан-Мари Бенуа констатировал: «Маркс умер». Говорят, Вуди Аллен отозвался иронически: «Бог умер, Маркс умер, да и я чувствую себя неважно».

Маркс тоже иногда чувствовал себя неважно. Злился. Раздражался. Частная его жизнь была полна превратностей и

неприятностей. Кроме призрака коммунизма, его мучил фурункулез. Однажды он произнес по-настоящему пророческую фразу: «Надеюсь, буржуазия, пока жива, будет иметь причины вспоминать мои фурункулы». Но если бы только буржуазия!

Восхождение на «Волшебную гору»

Томас Манн в контексте концов истории

Представим себе, что только сейчас, много десятилетий спустя после кончины Томаса Манна, российской публике была бы представлена его новелла «Смерть в Венеции» о пагубной, неодолимой любви-одержимости Густава фон Ашенбаха к польскому подростку Тадзио, — едва ли нашлось бы издательство, которое решилось бы опубликовать этот текст без оглядки на то, что сегодня зовется «общественным мнением», переплавленным в готовые формы новых статей УК. Автор — немец, пропаганда однополой любви, опять же...

И уж точно не пустили бы в прокат экранизацию «Смерти в Венеции» Лукино Висконти, причем, скорее всего, со скандалом, с публичными холодно-отчужденными заявлениями какого-нибудь помощника президента по культуре Мединского, флешмобами кремлевской молодежи у резиденции посла Германии, с публичным уничтожением южнонемецкого сыра и сборника новелл писателя, разжигавшего пожар Первой мировой войны в своих «Размышлениях аполитичного» 1918 года.

Томас Манн умел эволюционировать и, не отказываясь от своего бюргерского взгляда на мир, занимать трезвую и требовательную по отношению к своей родине позицию — во всяком случае, перед лицом того, что он со всё возрастающим отвращением называл «почвенническим язычеством», «романтическим варварством», «милитаристским социализмом», «комбинацией власти юнкерства, военщины и тяжелой

промышленности, ответственной за две мировые войны», «этой смесью из истерии и затхлой романтики, мегафонный германизм которой есть карикатурное опошление всего немецкого», то есть перед лицом национал-социализма.

Последняя цитата — из статьи, опубликованной в 1932-м, в последнее летнее пребывание Томаса Манна в его доме с коньками на камышовой крыше в Ниде на Куршской косе, где от работы над «Иосифом и его братьями» нобелевского лауреата отвлекали выкрики, доносившиеся из военно-спортивного нацистского лагеря, и персонажи, прогуливавшиеся по идиллическим дюнам в плавках со свастикой на видном месте и портившие ошеломляющий вид с террасы сквозь сосны на Куршский залив.

Война и национализм, консерватизм, который, по определению писателя, «может ополитизироваться в национализм», — тема, накрепко связанная с Манном, с «Волшебной горой», «Доктором Фаустусом», многочисленными статьями и письмами начиная с 1920-х годов. Тема, гиперактуальная сегодня.

В 1933-м Манн стал вынужденным эмигрантом, а его дом на Куршской косе вскоре символическим образом был опошлен — превращен в охотничью резиденцию Германа Геринга.

К слову, надо отдать должное советской власти: она создала в домике Манна библиотеку, которую я хорошо помню по своему детству, по слайду, вставленному в память о 1970-х, на котором мои родители и их друзья сидят на той самой террасе, читая на балтийском ветру кто «Новый мир», а кто — в тщетной попытке добраться до конца — тетралогия «Иосиф и его братья», такие же голубые, как и журнал, толстые тома издания 1968 года...

Как обычный человек под влиянием обстоятельств постепенно становится животным националистом, как из заумных философских споров консерваторов и либералов рождается оправдание фашизма и войны, как деградируют семейные

кланы и как патриотизм превращает целую нацию в угрозу всему миру — механика этих процессов волновала писателя.

Как национальное — в случае Манна немецкое — вдруг, перейдя невидимую границу, переставало быть синонимом «духовной чистоты» и легко превращалось в «партийный пароль», как в результате отказа от либерализма и от неверия в «либеральную фразу» оставался выбор между социальным и национальным, а на выходе получалась «обожествленная народность», «утопически понимаемая государственность» — об этом Манн думал и писал, по сути, два десятилетия.

Его письма — фантастическое чтение, потому что в них публицистичность, досада и горечь, спровоцированные тяжестью изгнания его, «хорошего немца», из Германии, сочетаются с поразительной прозорливостью и философскими выводами даже из текущей новостной повестки.

Он не верит ни в какие закаты Европы, в нацистском антисемитизме видит более глубокую катастрофу — отказ от «христианско-античных основ европейской цивилизации», «разрыв между страной Гете и остальным миром».

В год гитлеровской Олимпиады, 1936-й, Манн пытается понять, что значит это заигрывание диктатора с миром, и пишет Герману Гессе: «...либо... будет война, либо через несколько лет в Германии сложится обстановка, которая позволит снова распространять мои книги», тут же замечая: «...ничего хорошего из национал-социализма не выйдет. Но моя совесть была бы нечиста перед временем, если бы я этого не предсказал».

Манн умел отделять народ от режима: «Нельзя быть немцем, будучи националистом», — писал он Э. Корроди в 1936 году. А одну свою корреспондентку в 1938 году призывал не отказываться от изучения немецкого языка: «Не надо же забывать, что большая часть немецкого народа живет в вынужденно немой и мучительной оппозиции к национал-социалистскому режиму и что ужасные преступления... отнюдь нельзя

считать делом рук народа, как ни старается их выдать за такое режим».

Но ближе к окончанию войны отношение Манна к своему народу становится более сложным; он, по сути, в отчаянии. В «Докторе Фаустусе» звучат эти ноты почти яростного разочарования: а была ли «поступком» позиция — просто остаться в стороне от того, что происходило в Германии? А не была ли нацистская власть худшим, но все-таки по-своему логичным воплощением национального духа? И не являются ли бюргеры, отчужденные от происходивших в стране событий, «хотя ветер и доносил до них зловоние горелого человеческого мяса», «соответчиками за совершенные злодеяния»?

Это тема ответственности. Человек не может стоять в стороне от Зла. Человек не может не отвечать за свою собственную деградацию. Возмездие и катастрофа заслуженны.

Споры на высокогорном курорте в «Волшебной горе» меркнут перед ужасами Первой мировой, перед тяжелым снаряжением, «продуктом одичавшей науки», разрывающимся в тридцати метрах от Ганса Касторпа. В 1924 году Манн завершает роман открытым вопросом: «А из этого всемирного пира смерти, из грозного пожара войны, родится ли из них когда-нибудь любовь?» В 1947-м, заканчивая «Доктора Фаустуса», Манн переносит действие во Вторую мировую и снова завершает свой шедевр не рассудочным выводом, а, во-первых, вопросом о том, скоро ли Германия, заключившая сделку с чертом, «теснимая демонами», достигнет дна, и, во-вторых, молитвой за несчастную отчизну.

Из немецкого писателя Манн превратился в европейского, а затем благодаря собственной эволюции и войне — в общечеловеческого. В сентябре 1945-го нобелевский лауреат отвечает Вальтеру фон Моло, писателю, призывавшему Томаса Манна вернуться в Германию. Это письмо о все той же ответственности, на этот раз — интеллектуальной элиты: «Если бы немецкая

интеллигенция, если бы все люди с именами и мировыми именами — врачи, музыканты, педагоги, писатели, художники — единодушно выступили тогда против этого позора, если бы они объявили всеобщую забастовку, многое произошло бы не так, как произошло. <...> Непозволительно, невозможно было заниматься “культурой” в Германии, покуда кругом творилось то, о чем мы знаем. Это означало прикрашивать деградацию, украшать преступление. <...> Какая нужна была тупость, чтобы, слушая “Фиделио” (Бетховена. — А. К.) в Германии Гиммлера, не закрыть лицо руками и не броситься вон из зала!»

А что потом, после войны, после катастрофы национализма и разделения ответственности с режимом?

Манн сомневается в своей способности предсказывать что-либо, он, скорее, рассуждает и надеется. А одну из мыслей повторяет два раза — однажды в письме и еще раз в «Фаустусе». Герой романа Адриан Леверкюн считает, что «противоположностью буржуазной культуры, ее сменой является не варварство, а коллектив». В письме французскому германисту Пьер-Полю Сагаву писатель говорит о том, что склонен, будучи «сыном буржуазного индивидуализма», «путать буржуазную культуру с культурой как таковой», однако, продолжает он, «противоположность “культуры” в нашем понимании не варварство, а *содружество*».

Соломон Апт, словами которого Манн говорит с читателем по-русски, писал, что перевел *Gemeinschaft* как «содружество», хотя, по его предположению, писатель просто постеснялся употребить слово «социализм». В современной социальной теории, впрочем, *Gemeinschaft*, общину, противопоставляют *Gesellschaft*, обществу. Но, кажется, Томас Манн имел в виду вообще другое — превращение культуры из элитарной в массовую. Чуть ниже в том же письме он замечает: «Освобождено будет искусство от пребывания наедине с образованной элитой». И это стало настоящим пророчеством.

В 1945 году Манн предсказал и другой процесс — глобализацию, имея в виду, что спасение Германии — во включении в общемировую историю, когда «национальная обособленность... сойдет на нет»: «Мировая экономическая система, уменьшение роли политических границ, известная деполитизация жизни государств вообще, пробуждение в человечестве сознания своего практического единства, первые проблески идеи всемирного государства — может ли весь этот далеко выходящий за рамки буржуазной демократии *социальный гуманизм*, за который идет великая борьба, быть чужд и ненавистен немецкой душе?» (уже цитированное письмо Вальтеру фон Моло).

Примерно такие же слова можно было произнести о русской душе, когда завершалась перестройка, а Фрэнсис Фукуяма толковал о конце истории.

Можно назвать Томаса Манна утопистом, но он выражал настроения тех лет, когда ровно на этом воодушевлении и на этих принципах и обустроивался послевоенный мир. Не его вина, что тренд был сломан дважды: сначала холодной войной, а потом, после начала эпохи «постконца истории», событиями 9/11, Исламским государством, «спецоперацией» и прочими «радостями» постпостмодернистского мира, отменившими гуманистические ценности.

По крайней мере, этот великий писатель сразу после большой войны нарисовал образ желаемого будущего, такой привлекательный, пусть и не воплощенный нами. Образ, от которого мы все сегодня далеки как никогда. Восхождение на эту «Волшебную гору» еще только предстоит.

Немыслимый альянс

Опыт сотрудничества СССР с западными державами во Второй мировой войне: уроки для сегодняшнего дня

К Потсдамской конференции в июле 1945 года Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски под управлением А. В. Александрова подготовил исполнение двух союзнических песен. Одна — британская, знаменитая *It's a Long Way to Tipperary* («Долог путь до Типперери»), вторая — американская *There Is a Tavern in the Town* (в русской версии — «Кабачок»). Впоследствии песни были записаны на грампластинку и пользовались бешеной популярностью наряду с другими, например с исполнявшейся с 1944 года Леонидом и Эдит Утесовыми песней «Бомбардировщики» (*Coming in on a Wing and a Prayer*) — полагают, что ее завезли пилоты тяжелых бомбардировщиков, дислоцированных на короткое время летом 1944 года на трех советских аэродромах в рамках операции «Неистовый» (*Frantic*). Сама операция считается не очень удачной: отчасти из-за подозрительности советских властей и рассогласованности действий с ними ее пришлось быстро свернуть. Но песня осталась.

«Кабачок» и «Типперери» я помню наизусть с детства. Когда мои родители — поколение школьников войны — собирались с друзьями, они пели песни, популярные в 1940-х, причем не только военные, но и явно импортированные из союзнических стран. Популярна была, например, «И в беде, и в бою», исполнявшаяся еще до войны джаз-оркестром Варламова. Она оказалась русской версией американского слюфокса 1934 года *Roll Along Covered Wagon*.

Не только массовая музыкальная культура Британии и США, но и сами союзники были страшно популярны ближе к окончанию великой войны. Утром 9 мая, после того как

в третьем часу ночи диктор Юрий Левитан объявил о подписании акта о капитуляции Германии, огромные восторженные толпы высыпали на улицы Москвы. Мой отец, которому тогда едва исполнилось 17 лет, был разбужен одноклассником в четыре утра, и они устремились в сторону Красной площади, где уже было полным-полно ликующего народа. В течение всего дня была запружена людьми и Моховая площадь, где располагалось американское посольство. Фотографии Якова Халипа и Анатолия Гаранина запечатлели площадь 9 мая. Сотрудники посольства свешивались из окон и балконов, приветствуя москвичей. «Мы были, естественно, тронуты и польщены таким публичным выражением чувств, — вспоминал Джордж Кеннан, в то время советник посольства, еще не прославившийся своей “длинной телеграммой”, — но не знали, как ответить на них». Проблема еще состояла в том, что восторженные горожане подхватывали на руки и качали не только любых людей в военной форме, но готовы были то же самое проделать и с сотрудниками посольства дружественной державы. Тем не менее несколько смущенный Кеннан, владевший русским языком, рискнул взобраться на парапет у входа в американское представительство и выкрикнул: «Поздравляем с Днем Победы! Слава советским союзникам!» Это все, что он смог произнести.

Во всепоглощающем восторге того дня подземные толчки холодной войны, все более ощутимые (и уж во всяком случае зафиксированные чувствительным аналитическим «радаром» того же Кеннана), не были замечены торжествующими советскими людьми. Гитлер был повержен «Большой тройкой», «Большим альянсом», члены которого к тому времени, по замечанию историка Джона Гэддиса, уже находились в состоянии войны — как минимум идеологически и геополитически.

Невозможный союз

Разумеется, альянс сталинского СССР, Британии и Соединенных Штатов был вынужденным и представлял собой прежде всего военный союз, внешне претендовавший на то, чтобы совместными усилиями построить новый миропорядок, основанный на коллективной безопасности, а не на разделе сфер влияния и балансе сил. Впрочем, это было, скорее, идеей и устремлением Франклина Рузвельта, а не его партнеров по альянсу: романтические вильсонские принципы построения свободных объединенных наций он пытался внедрить в реальную политику, первоначально зафиксировав их в Атлантической хартии 1941 года. Частью его стратегии было строительство персональных дружеских отношений с Черчиллем и Сталиным при неистовой убежденности в том, что на основе абсолютного доверия и уступок можно сохранить мир после войны.

До нападения Германии на СССР антигитлеровский союз едва ли мог стать реальностью, хотя еще весной 1939-го продолжались вялые переговоры советской стороны с британской и французской о «коллективной безопасности». Правда, в мае того же года Молотову пришлось успокаивать партнеров в связи с отставкой наркома иностранных дел Максима Литвинова. Устранение наркома-еврея легко можно было расшифровать как «жест доброй воли» с советской стороны в отношении Германии.

Началась своего рода «гонка пактов» — Сталин и Молотов выбирали из того, что им было выгоднее. Для Германии альянс с СССР был важен и экономически — военная машина нуждалась в сырье, от нефти до марганца, которое мог дать Советский Союз, — и геополитически. По замечанию Генри Киссинджера, пакт со Сталиным должен был помочь Гитлеру разгромить Британию «тогда, когда тыл Германии будет полностью обеспечен».

В середине августа 1939 года британские и французские военачальники появились в Москве с целью проверить возможность англо-франко-советского альянса. Фон переговоров был не слишком благоприятным — за месяц до них экс-премьер Соединенного Королевства Дэвид Ллойд Джордж сказал послу СССР Майскому, что премьер-министр Невилл Чемберлен «до сих пор не может примириться с идеей пакта с СССР против Германии». Уровень делегации соответствовал настроениям: британский адмирал Дракс и французский генерал Думенк провели переговоры с маршалом Климентом Ворошиловым, но не смогли дать гарантий советской стороне относительно того, предоставит ли Польша в случае военных действий коридор для прохода советских войск. Переговоры естественным образом зашли в тупик. То, что могла предложить Германия, для Сталина геостратегически было гораздо привлекательнее. После всего этого заключение пакта Молотова — Риббентропа было оценено Британией как событие, которое неизбежно повлечет за собой начало войны.

Вторжение сталинского СССР в Финляндию и начало советско-финской «зимней» войны в конце 1939 года превратили Великобританию и Францию во врагов Сталина. Даже Черчилль, который поначалу считал притязания Сталина естественными, в январе 1940 года говорил: «Только Финляндия — великолепная, нет, величественная... демонстрирует, на что способны свободные люди». Британия и Франция задумались о помощи Финляндии, несмотря на то что им самим нужны были ресурсы для противостояния Германии. Маршал Маннергейм от помощи не отказывался, но, как отмечает финский историк Киммо Рентола, опасался ситуации, в которой «Финляндия и Швеция оказались бы союзниками Запада и противниками как Германии, так и СССР, когда враги рядом, друзья — далеко». Именно поэтому маршал был готов принять франко-британскую помощь, но не в виде регулярных сил на

территории Финляндии, чтобы не провоцировать Германию. Великобритания обсуждала операции против СССР на севере и на юге с использованием территории Турции. Правда, советская сторона не всегда доверяла донесениям разведки о планах относительно советского юга, и иной раз справедливо, поскольку зачастую дезинформация распространялась британцами для устрашения Советов. Тем не менее уже в начале 1940 года советское командование начало перебрасывать на Кавказ дополнительные силы Красной армии в ожидании возможных ударов по Баку, Батуми и Туапсе. В феврале была усилена противовоздушная оборона Баку. Советская сторона планировала превратить оборону в наступление — в частности, обсуждались планы бомбежек нефтяных месторождений в Мосуле и Киркуке, находившихся под контролем британцев.

Все эти обстоятельства и множество проблем на финском фронте подталкивали СССР к заключению мира с Финляндией — ресурсы и силы на эту затянувшуюся войну исчерпывались. Да и Великобритании и Франции уже было не до Советского Союза: в мае 1940 года Франция была оккупирована Германией. По замечанию Рентолы, «планы зимы 1940 года были началом конца глобальной империалистической стратегии Лондона и Парижа». А ведь еще в марте и апреле 1940-го британская разведывательная служба дважды занималась фоторазведкой над Баку в рамках планировавшейся операции *Pike*.

Сталин готовился к войне с Германией, но и не думал о союзе с Британией (и уж тем более с США). Более того, с 1939 года он рассчитывал «повернуть» Гитлера в сторону Англии. Вождь исходил из того, что война с Гитлером может начаться не раньше середины 1942 года — после того, как Германия расправится с Англией. Двойная выгода: поражение империалистической державы и выигрыш времени в подготовке к войне с

Германией. По воспоминаниям Анастаса Микояна, Сталин был уверен в успехе: «А к этому времени мы успешно выполним третью пятилетку, и пусть Гитлер попробует тогда сунуть нос».

Будущий генералиссимус не делал принципиальных различий между Германией, Англией, Францией. В его теории они были двумя группами капиталистических стран, борющихся между собой за рынки и передел мира. Согласно записям Георгия Димитрова, Сталин в сентябре 1939 года, то есть на пике «дружбы» с Германией, высказывался на этот счет так: «Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг друга. <...> Деление капиталистических государств на фашистские и демократические потеряло прежний смысл». В этой логике советский тиран получал еще один сопутствующий бонус — порабощение Польши: «Уничтожение этого государства в нынешних условиях означало бы одним буржуазным фашистским государством меньше!» Иными словами, Сталин полагал, что обведет вокруг пальца все империалистические державы и останется «третьим смеющимся», наблюдающим за тем, как капиталисты уничтожают друг друга, расчищая ему дорогу для продвижения мировой революции.

Этой теории Сталин придерживался всегда, и сразу после войны она сыграет свою роль в стремительном развале союза Британии, США и СССР. Но об этом пойдет речь позже.

Логику Сталина в большей или меньшей степени понимало население СССР. Если считать средним гражданином страны, лояльно настроенным к властям, тогда еще совсем молодого писателя Константина Симонова, то массам понятен был и стратегический замысел Сталина. Одной из эмоций в сентябре 1939-го была жалость к полякам, вступающая в некоторое противоречие с тем, что СССР сам вошел в Польшу. Но, вспоминая Симонов свои тогдашние впечатления, «какой-то червяк грыз и сосал душу. <...> Я это чувствовал и знал, что это чувствуют другие» («Истории тяжелая вода»).

Нападение Германии на СССР изменило все, притом что еще долго многие в Великобритании полагали: Сталин сможет договориться о мире с Гитлером, уступив ему некоторые территории. Четкостью же союзнической позиции Британия была обязана своему новому премьер-министру Уинстону Черчиллю, который сомневался в военной мощи СССР, но не выражал сомнений в том, что новые обстоятельства превращают коммунистическую империю в союзника. Вечером 22 июня он произнес в своей речи по радио исторические слова: «Любой человек и любая страна, воюющие с нацизмом, получают нашу помощь. Любой человек и любая страна, марширующие вместе с Гитлером, — наш враг... Следовательно, мы должны оказать любую доступную нам помощь России и русским людям». Черчиллю же приписывается высказывание, согласно которому «если бы Гитлер вторгся в ад, то он [Черчилль] постарался бы по меньшей мере отнестись самым благоприятным образом к Дьяволу».

Чуть позже, выступая в парламенте, министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден сформулировал причины установления союза следующим образом: «Мы всегда ненавидели доктрину коммунизма. Но не в этом вопрос. Россия подверглась предательскому вторжению без каких бы то ни было на то оснований. Русские сегодня сражаются за свою землю. Они борются против человека, стремящегося установить свое господство над миром. Это и наша единственная задача».

12 июля 1941 года посол Британии в Москве Стаффорд Криппс, человек, многократно предупреждавший советские власти о планах нападения Германии на СССР и называвший даже дату начала войны, и министр иностранных дел Вячеслав Молотов подписали пакт о военной взаимопомощи.

Неизбежный союз

Благодаря появлению общего врага невозможный союз превратился в неизбежный. Военный союз, если говорить о «Большой тройке» и четвертом «полицейском» — Китае (по плану Рузвельта, который он сформулировал в конце войны), и союз ценностей — в случае Великобритании и США.

Соединенные Штаты медленно и осторожно вовлекались в войну. Джеймс Бирнс (с 1945 года госсекретарь США) свидетельствовал: только «катастрофа Дюнкерка (эвакуация потерпевших поражение британских войск из Европы в начале июня 1940 года. — А. К.) наконец-то пробудила наших людей». Тем не менее даже тогда Республиканская партия заявила, что она жестко выступает против «вовлечения нации в иностранную войну».

6 января 1941 года Рузвельт должен был выступить с обращением к нации, постепенно подготавливая Америку к мысли о неизбежности войны. Именно тогда, работая со своими спичрайтерами, в число которых наряду с Сэмюэлем Розенманом и будущим обладателем «Оскара» за сценарий фильма «Лучшие годы нашей жизни» Робертом Шервудом входил ближайший советник президента Гарри Хопкинс, Рузвельт обозначил ключевые ценности западного мира. Четыре свободы, за которые стоит бороться: свобода слова и выражения мнений, свобода вероисповедания, свобода от нужды, свобода от страха. Каждая из них должна была распространяться на весь мир. «Не слишком ли большую территорию они покрывают? — усомнился Хопкинс. — Не уверен, что американцам интересно, что происходит с людьми на острове Ява». — «Боюсь, что однажды это произойдет, Гарри, — пронизательно заметил Рузвельт. — Мир становится таким маленьким, что даже жители Явы оказываются сейчас нашими соседями» — так передает разговор американского президента и его советника Д. Ролл, автор биографии Г. Хопкинса (перевод мой. — А. К.).

Отношения двух будущих англосаксонских союзников поначалу были осторожными и настороженными. В январе 1941 года Гарри Хопкинс в качестве полномочного представителя президента Рузвельта был направлен в Лондон для разговора с Черчиллем как потенциальным союзником в войне. Миссия оказалась успешной. Свою роль в установлении союзнических отношений лидеров США и Британии и в убеждении американцев в том, что помощь Америки нужна англичанам, сыграли посол Соединенных Штатов в Великобритании Джон Вайнант, ответственный за американский ленд-лиз Аверелл Гарриман (впоследствии посол США в СССР) и глава *CBS News* в Европе Эдвард Марроу.

Впрочем, Рузвельту понадобилось еще много времени для того, чтобы преодолеть изоляционистские настроения в Соединенных Штатах: например, летом 1941-го всеобщая воинская обязанность была восстановлена палатой представителей перевесом всего в один голос.

В конце лета США начали помогать Британии в обороне от немецких субмарин — передавали британскому флоту данные о местонахождении фашистских подводных лодок. После того как в сентябре американский эсминец «Грир» был торпедирован немцами, Рузвельт отдал распоряжение топить германские субмарины.

В конце июля того же 1941-го Хопкинс взял на себя миссию зондажа и в отношении Советского Союза как потенциально-го союзника: побывав в очередной раз в Лондоне и пообщавшись с Черчиллем, с послом США Джоном Вайнантом и послом СССР Иваном Майским, он принял решение отправиться в Москву для встречи с советским руководителем, потому что «важно было бы познакомиться и сблизить друг с другом Рузвельта и Сталина». 30 и 31 июля состоялись две встречи Хопкинса и Сталина. Причем советский вождь был очарован Хопкинсом — и его простотой в общении, и готовностью помочь. К

тому же советскому лидеру было известно, что Хопкинс — это «продолжение» Рузвельта, его ближайший советник, а значит, разговаривая с гостем, Сталин как бы беседовал с самим президентом США. Впоследствии Сталин говорил американскому послу Чарльзу Болену, что Хопкинс был первым встреченным им американцем, с которым можно было «поговорить по душам». Советский автократ тоже произвел положительное впечатление на посланника Рузвельта, и, вернувшись в США, Хопкинс сказал своему президенту, что помощь Советскому Союзу перевесит риски поражения СССР или заключения Советским Союзом мира с Германией. (Такая позиция была тем более важна, что в то время Черчилль по-прежнему не верил в саму возможность военных успехов СССР.)

Пример миссии Хопкинса, который, отправляясь в СССР, не посчитался даже со своей серьезной болезнью и отвратительным самочувствием, показывает, насколько важным и эффективным может оказаться личный фактор в выстраивании политических отношений.

В начале августа 1941-го в бухте Пласеншия на военной базе Арджентия (остров Ньюфаундленд) Черчилль и Рузвельт подписали Атлантическую хартию — восемь принципов, которые не просто заложили основы военного союза Британии и США, а также контуры возможного постгитлеровского мирового порядка, но и сформировали ценностный каркас того, что мы сегодня привыкли называть «Западом». Среди этих принципов были следующие: право наций на выбор своей формы правления, восстановление «суверенных прав и самоуправления тех народов, которые были лишены этого насильственным путем»; свободный доступ всех стран, великих или малых, к мировой торговле и сырьевым ресурсам, необходимым для экономического процветания государств; глобальное экономическое сотрудничество и повышение благосостояния. По замечанию английского исследователя Кристофера Коукера, «Запад был в

равной мере *идеи* и союзом». Впрочем, «без Второй мировой войны названный союз был бы невозможен». К хартии присоединился и СССР, но отнюдь не из-за того, что разделял идею формирования коллективного Запада.

Тем не менее, чтобы Америка вступила в войну, понадобилось нападение японцев на Перл-Харбор в декабре 1941 года. Для Черчилля это означало: «Англия будет жить; Великобритания будет жить; Содружество наций и империя будут жить. <...> Наша история не придет к концу. <...> Судьба Гитлера была решена. <...> Что же касается японцев, то они будут стерты в порошок». Генри Киссинджер писал: «Вступление Америки в войну явилось кульминацией исключительных дипломатических усилий великого и смелого лидера. Менее чем за три года Рузвельт сумел вовлечь свой сугубо изоляционистский народ в глобальную войну».

По оценке Джона Гэддиса, в то время как Черчилль решал одну задачу — выживание Британии любой ценой, у Рузвельта их было четыре: без союзников, включая СССР и националистический Китай, невозможно было достичь победы; без сохранения сотрудничества союзников невозможно было, с точки зрения американского президента, установить продолжительный и устойчивый послевоенный мир; необходимо было создать всемирную организацию по поддержанию коллективной безопасности; наконец, все это должно было быть поддержано американским народом, то есть война и мир должны были быть продаваемыми (*sellable*).

Британию и США объединили общая угроза и общие ценности. Со сталинским Советским Союзом их объединила общая угроза и еще один фактор: вера в личные доверительные отношения лидеров, в добрую волю Сталина, в то, что он «отличный парень» — вера, присущая в основном Рузвельту, гораздо более уступчивому партнеру советского тирана, чем Черчилль.

Сложный союз

Ключевым вопросом для СССР стало открытие второго фронта. Переговоры и разговоры на этот счет начались во время и сразу после заключения договора Советского Союза и Британии в июле 1941 года. Черчилль был против, и для такой позиции было несколько оснований. Ресурсов Британии не хватало на то, чтобы открывать второй фронт во Франции. Еще свежа была память о катастрофе Дюнкерка, когда в июне 1940 года англичане были вынуждены признать поражение от немцев и эвакуироваться в Британию. Для Англии и США рубеж 1941–1942 годов был «зимой катастроф» — весьма болезненных поражений от японцев на Тихом океане и в Азии. Черчилль предпочитал отвлекать силы Германии операциями английских войск на Средиземном море и в Северной Африке.

Существенным фактором было и недоверие к новому союзнику, и неверие в его военную мощь. В разговоре с Иваном Майским в сентябре 1941 года английский премьер раздраженно заметил: «Не забываете, что каких-нибудь четыре месяца назад мы были один на один с Германией и не знали, с кем будете вы». Эту же фразу премьер-министр был вынужден повторить Сталину, и в не менее раздраженном тоне. В августе 1942 года Черчилль побывал в Москве — само по себе путешествие было актом доброй воли, притом что среди прочего премьер-министру как раз и предстояло объяснить Сталину, почему второй фронт пока невозможно открыть. Переговоры проходили не просто конфликтно — Черчилль считал себя оскорбленным некоторыми фразами советского руководителя. Но тому на пике войны все-таки не нужна была ссора с союзником. И когда британский лидер уже собирался покидать Москву с мыслью о разрыве союза, Сталин пошел по пути налаживания личных отношений: в ночь с 15-го на 16-е августа Черчилль и Сталин общались неформально в кремлевской

квартире советского вождя. Английский премьер отдал должное «превосходным винам». Молотов проводил его на аэродром.

Этой истории предшествовали другие переговоры, тоже напряженные и конфликтные. В декабре 1941-го министр иностранных дел Британии Энтони Иден отправился на переговоры в Москву. Практически в день отбытия стало известно о катастрофе Перл-Харбора. Сложилось своего рода союзническое равновесие: Иден двигался в сторону Москвы, Черчилль собрался с визитом в Вашингтон.

В ходе переговоров с Иденом Сталин сразу же — и несколько неожиданно для периода начала войны — поставил вопрос о послевоенной перекройке Европы. В этом вопросе уже содержались пункты дальнейших — на годы вперед — разногласий и политико-дипломатических переговоров: и передача Польше Восточной Пруссии, и — главное — признание границ СССР 1941 года. Второй пункт представлял особую сложность для Идена, который не мог принимать самостоятельных решений без консультаций с США. Переговоры шли тяжело, их результатом стало лишь общее коммюнике, полноценный договор о союзе Великобритании и СССР был подписан лишь в мае 1942 года и не содержал пункта о признании советских границ. А тогда, в 1941-м, чтобы разрядить напряженную атмосферу переговоров, Сталин угостил Идена балетом (как в свое время Риббентропа) и перцовкой.

Тем временем Черчилль, обосновавшись в вашингтонском Белом доме на две недели, лично катал инвалидное кресло Рузвельта, отметив впоследствии, что он «самым тщательным образом» культивировал «свои личные отношения» с американским президентом. Прагматическую логику союза атлантических держав Черчилль изложил в телеграмме Идену из Вашингтона 8 января 1942 года: «Никто не может предвидеть, каково будет соотношение сил и где окажутся

армии-победительницы к концу войны. Однако представляется вероятным, что Соединенные Штаты и Британская империя далеко не будут истощены и будут представлять собой наиболее мощный по своей экономике и вооружению блок, какой когда-либо видел мир, и что Советский Союз будет нуждаться в нашей помощи для восстановления страны в гораздо большей степени, чем мы будем тогда нуждаться в его помощи».

Новый союз постепенно обретал переговорную и договорную форму: Британия и США обещали Советскому Союзу помощь в виде военного снабжения. В сентябре 1941-го была достигнута договоренность о помощи СССР со стороны и Британии, и США в порядке ленд-лиза (так называемая «миссия Бивербрука — Гарримана», названная по фамилиям послов Британии и США). 1 января 1942-го была подписана Вашингтонская декларация о создании антигитлеровской коалиции 26 стран, включая «Большую четверку» — Великобританию, США, СССР и Китай. Май 1942-го — это уже упоминавшийся договор о советско-английском союзе, июнь — договор СССР и США о принципах взаимной помощи в ведении войны. Последние два пункта — результат вояжа в Лондон и Вашингтон наркома иностранных дел.

Переговоры Молотова шли непросто: в мае 1942-го в Лондоне британская сторона по-прежнему отказывалась обсуждать признание границ СССР образца 1941 года. Тем не менее Сталин, не придававший особого значения букве правовых документов, дал Молотову директиву не обсуждать пока этот сюжет и подписывать договор с Великобританией: когда понадобится, вопрос границ будет решен силой. Договор заключался на 20 лет, стороны обязывались не участвовать в коалициях, направленных против одной из них, а также не стремиться к территориальным приобретениям для самих себя и не вмешиваться в дела других государств. В практическом смысле этому документу была уготовлена короткая жизнь.

При всех невидимых миру противоречиях союзников взаимные симпатии народов стали расти. Во всяком случае, в Англии, по свидетельству Майского, «трудящиеся» были полны энтузиазма по поводу успехов Красной армии, симпатии американцев еще задолго до вступления в войну США тоже были на стороне СССР. Союзники старались не обижать друг друга. Например, книга Льва Троцкого о Сталине, над рукописью которой он работал в тот момент, когда Рамон Меркадер ударил его альпенштоком по голове, была подготовлена к печати в 1941 году. Однако издатели ее «придержали», и она увидела свет только тогда, когда отношения Запада и СССР стали заметным образом портиться. В книге указан копирайт издательства *Harpers & Brothers* за 1941 год, фактически же она издана в 1946-м. Похожая история произошла со «Скотным двором» Оруэлла. Книга была окончена в феврале 1944 года, но была издана только в августе 1945-го, когда общий враг союзников был повержен. Глава русского отдела Министерства информации Великобритании Питер Смоллетт (как выяснилось впоследствии, советский агент, завербованный Кимом Филби) выражал опасения по поводу того, что книга может повредить англо-советским отношениям.

Советский Союз не слишком активно вовлекался в проблемы противостояния Соединенных Штатов, Британии и Китая с Японией, но поддерживал гоминьдановское правительство Чан Кайши, при этом аккуратно выстраивая отношения с Мао Цзэдуном. В мае 1942-го в Особый район Китая (Яньань), контролировавшийся китайскими коммунистами, в качестве связного Коминтерна при руководстве ЦК КПК был направлен журналист и дипломат Павел Владимиров. Его дневники — ценный источник для понимания азиатского ракурса политики союзников. В начале июня 1942 года Владимиров констатировал: «Англия связана борьбой на Средиземном море и борьбой за снабжение собственно Британских островов. У

нее нет ресурсов для защиты дальневосточных колоний. <...> СССР — союзник США и Британии. Японские правящие круги заинтересованы в разгроме Красной армии, рассчитывая получить в награду Сибирь.

Какое-либо значительное поражение Красной армии на германском фронте может подтолкнуть Японию на агрессию против СССР».

В феврале 1943-го Владимиров объяснял коммунистическим товарищам, почему СССР снабжает оружием врагов коммунистов — гоминьдановцев, и это было весьма емким определением смысла антигитлеровского союза с прагматических позиций Советского Союза: «В мире единый фронт против фашизма. Главный враг коммунистов всех стран — фашизм. В Китае разбойничает фашистская Япония. Основные сражающиеся с Японией силы — армии Гоминьдана». В свою очередь, зависимость Гоминьдана от поставок советского вооружения сдерживает Чан Кайши в его соперничестве с китайскими коммунистами, подчеркивал Владимиров.

Между тем переговоры о втором фронте продолжались, и эта тема стала пунктом разногласий и в отношениях США и Британии. Американцы в большей степени склонялись к варианту высадки в Нормандии, для англичан по-прежнему наиболее важными были средиземноморский и африканский векторы. Соединенные Штаты планировали открытие второго фронта в Северной Франции на весну 1943 года. Рузвельт поддержал высадку союзников в Северной Африке в ноябре 1942 года, хотя генералы Джордж Маршалл и Дуайт Эйзенхауэр возражали против этого плана. Британские и американские солдаты высадились на Сицилии в июле 1943-го в соответствии с планом Черчилля, хотя в январе того же года на конференции лидеров Британии и Соединенных Штатов в Касабланке делегация США настаивала на вторжении в Нормандию.

Разногласия этим не ограничивались: Черчилль был человеком империи, Рузвельт — антиколониалистом, который к тому же отказывался думать о мировом порядке в терминах сфер влияния; британский премьер не мог понять и того, почему президент США придает столь большое значение Китаю. По-разному они относились и к Сталину: Рузвельт полагал, что может управлять им за счет теплых личных отношений, Черчилль не поддерживал такую точку зрения, был гораздо более неуступчив. В результате же, скорее, Сталин манипулировал своими англосаксонскими союзниками, что стало очевидно во время исторических встреч «Большой тройки» в Тегеране в 1943-м и в Ялте в 1945-м.

Союз уступок

В начале войны Рузвельт предлагал Сталину встретиться в районе Берингова пролива. Это были пустые хлопоты: советский диктатор даже ради встречи с американским президентом так далеко не поехал бы. Догадываясь о психологических особенностях Сталина (царь может принимать просителей только у себя), Черчилль не поленился посетить вождя в Москве. Отказался Сталин и от встречи в Касабланке в январе 1943-го. Оба заседания «Большой тройки» в Тегеране и Ялте логистически устраивали в гораздо большей степени Сталина, чем его партнеров. «И в том и в другом случае, — писал Генри Киссинджер, — Сталин лез вон из кожи, чтобы показать Черчиллю и Рузвельту, что им встреча нужна гораздо больше, чем ему; даже места встреч были выбраны так, чтобы разубедить англичан и американцев в возможности заставить его пойти на уступки».

...В Тегеране советское представительство находилось напротив английского. В преддверии встречи «Большой тройки» в конце ноября 1943 года сикхи с *tommy guns* из охраны Черчилля своим экзотическим обликом могли соперничать с

двенадцатью охранниками Сталина, которыми руководил профессиональный убийца Шалва Церетели, подчиненный Лаврентия Берии. Резиденция Рузвельта находилась далеко, поэтому Сталин любезно предложил американскому президенту расположиться на советской территории. Рузвельт не считал возможным отказаться — ему нужно было установить со Сталиным личный контакт. Это, безусловно, сыграло свою роль: на сопротивлявшегося Черчилля было оказано давление, и стороны договорились об открытии второго фронта в 1944 году, хотя тема снова оказалась чрезвычайно конфликтной: Сталин с Молотовым и Ворошиловым едва не покинули переговоры. Как едва не покинул их Черчилль, когда Сталин «пошутил» по поводу того, что следовало бы расстрелять 50 или 100 тысяч немецких офицеров. Ситуация была тем более деликатной, что от польского правительства в изгнании Черчилль, а возможно, и Рузвельт (от британского лидера) могли уже знать о катынском преступлении и ответственности за него советской стороны. Однако вопрос в принципе не мог быть поднят, поскольку сам этот сюжет сильно испортил бы союзнические отношения, если не разрушил бы их.

Несмотря на эти неприятные ситуации, союзники были готовы идти на уступки Сталину. В частности, Черчилль согласился с тем, что Финляндии «придется нести территориальные потери из-за ее отвратительного поведения», а Сталину необходимо доминировать на Балтике.

Как отмечал Генри Киссинджер, именно в Тегеране западным лидерам имело смысл обсуждать детали послевоенного устройства мира, в Ялте в 1945-м уже было поздно. Хотя и «к моменту Тегеранской конференции битва под Сталинградом была уже выиграна и победа обеспечена». Это означало, что Сталин чувствовал себя все увереннее, тем более что он получил заверения в открытии второго фронта и мог со спокойным сердцем слушать рассуждения Рузвельта о четырех мировых

«полицейских» — США, Британии, СССР и Китае — и о прообразе Организации Объединенных Наций.

Тем не менее Черчилль надеялся, что он не опоздал к разделу мира, когда отправился с визитом к «дядюшке Джо» в октябре 1944 года (так называемая Четвертая Московская конференция с кодовым обозначением «Толстой»): войска союзников делали успехи, но Красная армия еще быстрее продвигалась на запад. Пора было поговорить о сферах влияния, причем без Рузвельта, который был противником такого подхода к отношениям союзников-победителей. Черчилль понимал, что Сталин был готов выполнить свое обещание, данное Молотову в 1942 году, — «силой» вернуть границы 1941 года и передвинуть сферу влияния СССР далеко на запад.

В центре дискуссий была Польша. Черчилль соглашался и с передачей Восточной Польши Советскому Союзу, и с компенсационным сдвигом границы Польши на запад за счет Германии. В обмен на это Британия могла потенциально рассчитывать на формирование демократического режима в Польше. Во всяком случае, в переговорах декабря 1944 года участвовал премьер правительства Польши в изгнании Станислав Миколайчик. Сталину это было в принципе не интересно, он уже за несколько месяцев до декабрьской встречи сделал ставку на «Люблинскую группу», или «Люблинский комитет» (Польский комитет национального освобождения) и Болеслава Берута, главу Крайовой Рады Народовой, противопоставленной Сталиным правительству Миколайчика. Не говоря уже о том, что еще в апреле 1943 года были разорваны дипломатические отношения между СССР и польским правительством в изгнании — как раз на почве Катыни. Переговоры «Люблинского комитета» и кабинета Миколайчика тоже велись в Москве, но, естественно, оказались безрезультатными.

Московская конференция 1944 года была отмечена знаменитым эпизодом, когда Черчилль, предположив, что такой

единичный шаг не одобрил бы Рузвельт, предложил Сталину раздел ряда балканских и центральноевропейских стран в процентах. Сталин легко согласился, прекрасно понимая, что никакие условные расчеты не помешают ему довести, например, предлагавшиеся в Румынии 90% или в Болгарии 75% до 100%. Кроме того, советский вождь уже получил заверения Рузвельта в том, что СССР сможет проводить абсолютно самостоятельную политику в Румынии, Болгарии, Буковине, Восточной Польше, Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии. Еще до Тегерана президент США согласился сам с собой в том, что Польшу придется отдать Сталину. «В британской политике, — отмечал Киссинджер, — просматривалась доля дерзкого отчаяния. Никогда еще сферы влияния не определялись в процентах. Не существовало никаких критериев или средств контроля за соблюдением принципа долевого дележа. Влияние всегда определялось присутствием соперничающих армий».

Отношения союзников деградировали до торга, но внешне все выглядело как никогда блестяще. Сталин единственный раз в жизни появился в британском посольстве на Софийской набережной, а Черчилля, как это было принято у Сталина, угостили посещением Большого театра, который был символом имперского величия и блеска и которым вождь практически лично руководил, определяя в том числе репертуарную политику.

Когда-то, в 1939 году, учитывая особые отношения с нацистской Германией, Сталину было важно проявить лояльность к партнеру, и он дал команду поставить на сцене Большого «Валькирию» Вагнера, любимого композитора Гитлера. При этом в постановке не должны были участвовать евреи. Режиссером был назначен Сергей Эйзенштейн (отец которого считался потомком обрусевших немцев).

Черчилля Сталин встречал точно выверенным сочетанием фирменного блюда — балета «Жизель» в первом отделении — и

Краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной армии во втором отделении. Появление союзников в ложе театра было обставлено как нельзя более эмоционально. Переводчик Сталина Валентин Бережков вспоминал: «Зал украшали британские и советские флаги. Оркестр исполнил английский гимн. Когда Черчилль появился в центральной “царской” ложе, зрители обрушили на него шквал аплодисментов и приветственных возгласов. И на этот раз Сталин нарушил свои правила и тоже приехал в театр, правда, минут на пять позже британского премьера. Он подошел к Черчиллю из глубины ложи, и публика, несомненно заранее подобранная, увидев двух лидеров, разразилась бурным восторгом. Через несколько мгновений Сталин отошел в тень, чтобы все аплодисменты достались одному премьеру. Овации продолжались. Черчилль, заметив этот учтивый жест, повернулся и стал манить Сталина к себе. Тот снова приблизился к барьеру ложи, что вызвало новый взрыв аплодисментов».

Сталин, уверенный в том, что он полностью управляет ситуацией и скоро уже не будет нуждаться в союзниках, мог позволить себе такое представление. Чем пафоснее становилось постановочное единство членов альянса, тем больше реальных противоречий обнаруживалось между ними.

Следующим — и последним — географическим пунктом для «Большой тройки» в классическом составе стала Ялта в феврале 1945 года. Идея принадлежала Хопкинсу, который понимал, что Сталин не отправится ни на какую Мальту и ни в какую Александрию или Афины. Хопкинс, выбирая теплый Крым, угождал Сталину, но и заботился о здоровье Рузвельта, хотя медицинская помощь требовалась ему самому — в Ливадийском дворце во время конференции он был вынужден существенную часть времени находиться в постели. Советская сторона подготовилась к конференции с размахом: в Крым было доставлено свыше 1500 вагонов оборудования, строительных

материалов, мебели; вдоль дороги из аэропорта Саки на протяжении всех 80 километров стояла живая цепь солдат, среди них Джеймсу Бирнсу запомнились «девушки с автоматами».

Черчилль назвал конференцию «эксклюзивным клубом с входной платой как минимум в пять миллионов солдат или в эквиваленте». Одним из ключевых вопросов была проблема германских репараций Советскому Союзу, и предложенные цифры активно поддерживал Рузвельт (Сталин, к примеру, настаивал на том, что 80% немецкой промышленности должно быть вывезено в СССР). Позиция Черчилля по отношению к Германии была гораздо более щадящая: чтобы лошадь ехала, ей надо задавать корм, говорил он. Советская сторона подозревала британского лидера в лукавстве: премьер-министр опасался чрезмерного ослабления Германии, поскольку рассматривал ее «как будущий противовес возросшему могуществу СССР». Тем не менее в результате «Большая тройка» подписала протокол о репарациях, эквивалентных 10 миллиардам долларов.

Характерной была формулировка Ивана Майского: в мемуарах он отметил «британскую оппозицию советско-американской линии». Советско-американская линия — это понятие кажется сейчас абсурдным, но Рузвельт действительно часто поддерживал Сталина. Он рассчитывал на то, что в обмен на мягкую позицию англосаксов по отношению к требованиям Советского Союза Сталин вступит в войну с Японией. Уступал Рузвельт и в вопросе установления советско-польских границ, например после короткой дискуссии согласившись с тем, что Львов станет частью Советской Украины, а не останется в Польше. Стороны согласовали и переселение немцев, которое, впрочем, казалось Черчиллю неоправданным и жестоким. Лидеры пришли к единому мнению в том, что территориальные потери Польши на востоке следует компенсировать расширением ее территории на западе.

Серьезные споры возникли вокруг формирования польского правительства. Советский вождь настаивал на том, что Польша — вопрос безопасности для СССР, поскольку эта страна на протяжении всей европейской истории становилась коридором для внешних вторжений в Россию. И потому ему нужна была Польша как надежное буферное государство, способное «закрыть дверь» перед захватчиками. Сталин совершенно не собирался уступать в своих практических действиях, но формально согласился с идеей Рузвельта и Черчилля о создании «временного правительства национального единства», которое включало бы в себя представителей польского правительства в изгнании.

Станислав Миколайчик действительно вошел во временное правительство, а его Крестьянская партия получила несколько портфелей, о чем были достигнуты договоренности в ходе переговоров с «люблинскими поляками» в Москве в июне 1945 года. Одновременно в столице СССР состоялся «процесс шестнадцати» — суд над представителями польского движения сопротивления, в том числе генералом Армии Крайовой Леопольдом Окулицким. Они были обманом приглашены на переговоры, арестованы НКВД 27 марта 1945 года и отправлены в Москву на Лубянку. Операцией по аресту руководил Иван Серов, в то время замнаркома внутренних дел.

В июне Миколайчик триумфально вернулся в Варшаву, но его практически сразу стали травить и выдавливать из политики, что означало нарушение ялтинских договоренностей, Впрочем абсолютно предсказуемое. В 1946 году при участии Министерства госбезопасности СССР были подделаны результаты референдума, по которому можно было измерить уровень доверия коммунистам (причем по формально малозначащему вопросу о сохранении или несохранении довоенного института Сената). Выборы в парламент в январе 1947 года были открыто и цинично фальсифицированы. Энн Эпплбаум

приводит строки из мемуаров Миколайчика: «Стоя в очереди к избирательным урнам, люди должны были держать над головой заполненные бюллетени с отмеченным в них номером 3 [номер коммунистического блока], чтобы проверяющие могли это видеть».

«Большая тройка» обсуждала и принципы голосования в Совете Безопасности будущей ООН, что вынудило лидеров рассуждать на более масштабные темы — как сделать так, чтобы коллективная безопасность распространялась на годы вперед и не держалась исключительно на личных отношениях руководителей государств, которые, как заметил Черчилль, «через десять лет исчезнут». Знал бы он, что уже спустя несколько месяцев сам окажется не у дел, а Рузвельт скончается вскоре после Ялтинской конференции... Сталин же говорил об опасности в будущем конфликтов между союзниками. Предсказать их было несложно. Но пока союзники пошли на уступки и в том, что СССР, по сути, получил еще два голоса в ООН за счет Белоруссии и Украины как отдельных членов организации.

Высшая степень доверия между СССР и США была обозначена еще одной ялтинской договоренностью — «секретным протоколом», который обсуждался только членами «Большой тройки» и не за официальным столом конференции. Он был подписан 11 февраля: в обмен на вступление в войну с Японией Советскому Союзу «передавались» Курильские острова.

На заключительном банкете, проведенном в фирменной сталинской стилистике — он длился четыре часа и сопровождался 45 тостами, — Сталин заметил: легко сохранять союз во время войны, поскольку есть общий враг, труднее будет сохранить его после войны, когда у союзников обнаружатся разные интересы.

Союзнические отношения достигли высшей точки, которая одновременно обозначила начало конца «Большой тройки».

Развалившийся союз

«Уступкой Сталина союзникам, — писал Киссинджер, — явилась совместная Декларация об освобожденной Европе, где давалось обещание о проведении в Восточной Европе свободных выборов и установлении там демократических правительств. Сталин явно полагал, что дает обещание в отношении советской версии свободных выборов, поскольку Красная армия уже оккупировала данные страны». Скорее, Сталин прекрасно понимал разницу между свободными выборами и их советской имитацией, но совершенно не собирался на тех территориях, которые считал своими, учитывать положения каких-то там деклараций.

Проблемная ситуация возникла и в Румынии, где советский эмиссар Андрей Вышинский без оглядки на союзников и фактически насильственно сформировал коммунистическое правительство.

5 марта журнал *Time* предсказал начало конфронтации со «сталинской Россией». В конце марта Черчилль выразил свою обеспокоенность Рузвельту, заметив, что ялтинские договоренности не соблюдаются. С этим соглашался и американский президент. Появился еще один сюжет, подрывавший доверие между членами «Большой тройки»: советская сторона была недовольна тем, что союзники обсуждают условия капитуляции немецкой армии в Италии без участия советских представителей (так называемый «Бернский инцидент»). Состоялась переписка Рузвельта и Сталина, конфликт был практически исчерпан, однако из-за внезапной кончины Рузвельта от инсульта 12 апреля на некоторое время возникла неопределенность.

Польский и румынский кейсы, «Бернский инцидент» обнаружили глубокие противоречия между членами антигитлеровской коалиции. Впрочем, новый президент США Гарри Трумэн пытался в первое время продолжать линию Рузвельта. И не

сразу понял, что это невозможно не только по личным, но и по объективным причинам: даже глубокое уважение Сталина к Рузвельту не спасло бы отношения союзников от деградации. Июньская поездка смертельно больного Хопкинса к Сталину в Москву была его заключительной миссией, которая к тому же оказалась бесплодной — если не считать договоренности о последней большой конференции союзников на территории побежденной Германии в июле 1945 года.

На Потсдамской конференции союзники приняли решение о разделе Германии и Берлина на зоны. Это было признанием несопадающих интересов и, строго говоря, единственно возможной для Запада политикой — зафиксировать хотя бы фактические территориальные зоны влияния, раз уж все равно придется учитывать непримиримость Сталина, никому не позволявшего вмешиваться в управление «его» странами в Восточной Европе. Джордж Кеннан летом 1945-го выступал за раздел Европы и расчленение Германии как за единственную реалистическую стратегию. И хотя это была всего лишь позиция советника посольства США в Москве, в результате как раз она объективно и стала «дорожной картой» для Запада.

Практически все обсуждавшиеся вопросы — от снова возникшей проблемы репараций и чрезмерных масштабов переселения немцев до расширения участия Франции, которую, как и Шарля де Голля, Сталин не любил, в послевоенном устройстве Европы — стали предметом для споров. Именно в Потсдаме Черчилль, потерявший по ходу конференции пост премьер-министра, использовал словосочетание не «железный занавес», а «железный забор» (*iron fence*), имея в виду изоляцию просоветскими властями британской миссии в Бухаресте. Конкретное решение конкретных проблем было передано так называемому Совету министров иностранных дел держав-победителей, и все конфликты переместились в рабочие рамки конференций этой структуры. Из «Большой тройки»

действующим лидером остался только Сталин. Распались и личные связи, отчасти поддерживавшие единство союзников.

В Потсдаме Трумэн сообщил Сталину, что Америка отныне располагает атомной бомбой. Генералиссимус сделал вид, что эта новость его совсем не впечатлила. Но, разумеется, и сам факт обладания США супероружием, и практическое его использование в Хиросиме в том же месяце, когда завершилась Потсдамская конференция, лишь усугубили недоверие Сталина к партнерам. Он увидел во всем происходящем «ядерный шантаж» по отношению к СССР.

Тем не менее в массовом сознании советских людей «Большой альянс» все еще существовал. И это не только вопрос естественной неинформированности о деталях переговоров. Существовала и инерция надежд на лучшую и, что важно, более свободную в политическом отношении жизнь после победы. По замечанию Бориса Пастернака в «Докторе Живаго», «хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победой, как думали, но все равно предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание». В войну стало возможно временное единство не только целей союзников, но и целей советской власти и народа.

Об этом, собственно, Сталин и говорил несколько извиняющимся тоном в своем знаменитом тосте за русский народ на кремлевском приеме 24 мая 1945 года: «У нашего правительства было немало ошибок... Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство... Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства, и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии». Эти надежды на послевоенное «просветление и освобождение» не сразу, но рухнули вместе с фактическим распадом «Большого альянса».

Инерционно союз с западными державами еще рассматривался как нечто важное. Во всяком случае, даже после Фултонской речи Черчилля 5 марта 1946 года, от которой традиционно отсчитывается начало холодной войны, продолжались и официальные контакты, и формально неофициальные.

Советское руководство считало, например, чрезвычайно важной с точки зрения пропагандистских (или контрпропагандистских) целей поездку в США писателей и журналистов Константина Симонова, Ильи Эренбурга и Михаила Галактионова, представлявших соответственно «Красную звезду», «Известия» и «Правду». Это был ответный визит после поездки в 1945 году в СССР трех американских журналистов. Как вспоминал Эренбург, «американцы вели переговоры с советским правительством об увеличении тиража журнала “Америка”, выходившего на русском языке, об облегчении работы американских корреспондентов в Москве, и государственный секретарь Бирнс решил показать свою добрую волю».

Тираж «Америки» действительно ненадолго вырос, но в 1948 году журнал запретили; возобновить его было решено только в 1956 году, в период хрущевской оттепели. На цензурные послабления для работы иностранных журналистов надеяться уже было бесполезно. Еще осенью 1945 года Молотову досталось от Сталина за то, что он на приеме в Наркомате иностранных дел в честь годовщины Октябрьской революции разрешил снять цензурные ограничения с корреспонденций иностранных журналистов. 10 ноября 1945 года Сталин, оправившийся от инсульта, который случился в октябре, направил Молотову, Маленкову, Берии и Микояну телеграмму, выражая неудовольствие публикацией речи Черчилля «с восхвалениями России и Сталина. Восхваление это нужно Черчиллю, чтобы успокоить свою нечистую совесть и замаскировать свое враждебное отношение к СССР... У нас имеется немало ответственных работников (намек на Молотова. — А. К.), которые

приходят в телячий восторг от похвал со стороны Черчиллей, Трумэнов, Бирнсов... С угодничеством перед иностранцами нужно вести жестокую борьбу».

Шансов на продолжение союзнических отношений не было. Тем не менее Политбюро выделило писательской бригаде серьезные средства — «10 тысяч долларов (по курсу 1946 года. — А. К.), не считая расходов по переезду». И сами путешественники верили в то, что «вчерашние союзники договорятся», несмотря на то что уже в течение более чем двухмесячной поездки замечали — отношения продолжают ухудшаться: «...настроение рядовых американцев менялось на глазах». Основная миссия бригады становилась невыполнимой. «Мы им там доказывали как умели, — писал Симонов, — доказывали и рассказывали, и это была истинная правда, — не хотят русские войны, не хотят, не могут хотеть».

Фултонская речь Черчилля не противоречила тезису Симонова. Бывший премьер, а теперь лидер оппозиции пронизательно замечал: «Я не верю, что Россия хочет войны. Чего она хочет, так это плодов войны и безграничного распространения своей мощи и доктрин». Что со всем этим делать, американский истеблишмент уже в принципе знал — из «длинной телеграммы» (22 февраля 1946 года) сотрудника посольства США в Москве Джорджа Кеннана, который тоже, что прямо следовало из его последующей лекции в октябре 1946-го в Стэнфорде, не верил в возможность войны США и СССР.

Советским «Фултоном» стало выступление Сталина в Большом театре на предвыборном собрании Сталинского избирательного округа города Москвы 9 февраля 1946 года (тогда проходили выборы в Верховный Совет СССР). В этой речи вождь в очередной раз вернулся к своему тезису о неизбежности войн между империалистическими державами, а победа во Второй мировой была приписана преимуществам советского общественного и государственного строя. Строй менять не

надо, индустриализация и коллективизация были оправданны. Союзники были упомянуты лишь единожды, да и то вскользь. Никаких надежд на политические изменения в стране не оставалось. Элбридж Дерброу, глава восточноевропейского отдела Госдепартамента, охарактеризовал основной пафос речи Сталина: «К черту весь остальной мир!» (*To hell with the rest of the world!*)

В некотором смысле Кеннана на «длинную телеграмму» вдохновила эта речь Сталина, хотя поначалу советник американского посольства счел ее вполне проходной, к тому же он находился в разобранном состоянии — простудился и мучился зубами. Но Госдепартамент очень ждал анализа речи от лучшего знатока России в дипломатическом корпусе. И Кеннан на одном дыхании продиктовал своему секретарю Дороти Хессман «длинную телеграмму» о сути советской политики. Отправляя ее, он извинился за перегрузку телеграфного канала — текст состоял из более чем 5 тысяч слов.

Кеннан объяснял американским дипломатам, что это не они недоработали в переговорах с Советами, а сама природа сталинской власти, чьи свойства во многом исторически обусловлены, предполагает конфронтацию: «...они находят оправдание своему инстинктивному страху перед внешним миром, диктатуре, без которой не знают, как управлять, жестокостям, от которых не осмеливаются воздержаться, жертвам, которые вынуждены требовать. <...> В основе невротического восприятия Кремлем мировых событий лежит традиционное и инстинктивное русское чувство неуверенности в собственной безопасности. <...>. На это... стал накладываться страх перед более компетентными, более могущественными, более высокоорганизованными сообществами. <...>. ...Они всегда боялись иностранного проникновения, опасались прямого контакта западного мира с их собственным <...>. ...Они привыкли искать безопасность не в союзе или взаимных компромиссах

с соперничающей державой, а в терпеливой, но смертельной борьбе на полное ее уничтожение» (цитирую по книге Г. Киссинджера «Дипломатия»).

Один из ключевых выводов Кеннана состоял в том, что советский режим всегда нуждался во внешних врагах, чтобы оправдать характер своего внутреннего правления. Этот же вывод он обосновал в своей знаменитой статье 1947 года «Истоки советского поведения» (подписанной псевдонимом Х) в *Foreign Affairs*. Любопытно, что уже в наше время Майкл Макфол, покинув пост посла США в России в 2014 году, пришел к схожим выводам и призвал расстаться с иллюзиями по поводу самой возможности присоединения путинской России к мировому порядку: «В дополнение к усилению автократии Путин в целях большей легитимации стал нуждаться во враге — Соединенных Штатах».

В советской историографии Кеннана всегда называли идеологом холодной войны, хотя он автор доктрины сдерживания, основанной на том, что самоедский автократический режим рано или поздно умрет сам и надо только жестко, не переводя дело в стадию горячей войны, сдерживать его (в долгосрочной перспективе с Советским Союзом так и случилось).

Своего рода ответом на «длинную телеграмму» стала депеша, отправленная в Москву 27 сентября 1946 года послом СССР в США Николаем Новиковым. Сделано это было по личному указанию Сталина, а основным автором телеграммы был Молотов: «...подготовка США к будущей войне проводится с расчетом на войну против Советского Союза, который является в глазах американских империалистов главным препятствием на пути США к мировому господству».

А вот Черчиллю отвечал — почти сразу после Фултонской речи — сам Сталин в форме ответов на вопросы интервьюеров. И в этих ответах содержались примерно те же тезисы, что и в будущей «телеграмме Новикова». Ответы газете «Правда»

14 марта 1946 года были весьма эмоциональными: Сталин обвинял союзников в том, что они хотят «заменить господство гитлеров господством черчиллей». Именно так — со строчной буквы — обозначался теперь союзник, которого еще год назад триумфально встречала аудитория Большого театра.

12 марта 1947 года, мотивируя американскую экономическую помощь Греции и Турции, Трумэн заговорил с позиций ценностей. Эта его речь в конгрессе вошла в историю как «доктрина Трумэна»: «Я верю в то, что мы должны помогать свободным людям формировать свою собственную судьбу так, как им самим хотелось бы. Я верю, что наша помощь должна быть в первую очередь экономической и финансовой <...>». Неделей раньше в Бэйлорском университете Трумэн говорил о первостепенной важности свободы вероисповедания, свободы слова и свободы предпринимательства. Разумеется, эта речь всегда оценивалась в СССР как доктринально оформленная готовность США вмешиваться в дела других стран.

Столкнувшись с такого рода решительными шагами США, Сталин во время своей встречи с Маршаллом в апреле 1947 года говорил о возможности компромиссов — но лишь убедил нового государственного секретаря США в том, что они более невозможны. «Сталин зарвался, отстаивая свою позицию, — пишет Киссинджер, — ибо никогда не понимал психологии демократических стран, особенно Америки. Результатом стал “план Маршалла”, Атлантический пакт и наращивание Западом военных потенциалов».

План помощи Европе, объявленный Джорджем Маршаллом 5 июня 1947 года, был оценен как шаг в направлении организации «западного блока против Советского Союза» и покушение на зону влияния Сталина: странам — сателлитам СССР было запрещено становиться реципиентами «плана Маршалла». Академик Евгений Варга, которому был поручен анализ «плана», написал о других его неприемлемых для СССР

последствиях — отмене железного занавеса, возможностях свободного передвижения товаров, свободе экономической и политической информации.

Год оставался до начала прямого противостояния СССР и западного мира — блокады Западного Берлина в 1948 году. Берлинский кризис, как и грубая коммунизация власти в Чехословакии в том же 1948 году, вынудил Запад задуматься о коллективной военной обороне — так возникла идея НАТО.

Бидstrup и дядюшка Сэм

Мое поколение выросло на лучших образцах советской и просоветской политической карикатуры. В 1960–1970-е годы в СССР был невероятно популярен датский карикатурист-коммунист Херлуф Бидstrup, о котором в сегодняшней Дании уже почти никто не помнит. Сборники его рисунков издавались огромными тиражами, по сюжетам карикатур снимались мультфильмы, по нему учились рисованию. Своими первыми представлениями о холодной войне я обязан его карикатурам — например, на Трумэна, размахивающего атомной бомбой. Тощий и длинноногий дядюшка Сэм с козлиной бородой отъедал куски европейского пирога, услужливо преподнесенного ему лидерами стран Европы, и реанимировал гитлеровского солдата, превращая его в более приличного вида солдата американского. Точнее, офицера, поскольку американский солдат мало что понимал и изображался в виде веселого недотепы, способного, впрочем, случайно насолить своему командиру.

Об опыте союзничества школьники и студенты позднего советского времени знали очень мало или почти ничего. Из самого популярного сериала о советском разведчике, внедренном в Главное управление имперской безопасности, «Семнадцать мгновений весны», мы вынесли знание о секретных

переговорах американца Даллеса с гитлеровцами. А незадолго до премьеры фильма, в мае 1973 года, секретные переговоры с Брежневым во время охоты на кабанов в Завидово вел Киссинджер — назревала разрядка.

Лишь для 4% респондентов Левада-центра победа в войне — это успех именно антигитлеровской коалиции, более 50%, тем не менее, помнят, что союзниками СССР были США и Великобритания. Главные клише о США как мировом жандарме, который навязывает другим народам свою волю и противостоит СССР или России («Мир живет под диктовку США»), перекочевали из советской эпохи в постсоветскую — правда, их реанимации способствовала массивная антизападная пропаганда последних лет. А потом и начавшаяся «спецоперация».

1946–1968 — ЗОЛОТОЙ ВЕК И КРИЗИС КАПИТАЛИЗМА

1946–1968 годы — период очень долгий, и здесь снова можно вести речь об очередном золотом веке, который закончился протестом против этой самой «позолоты». Послевоенное восстановление — не только экономическое, но и психологическое и идейное, восстановление на гуманистических принципах — вошло в противоречие с меняющимся сознанием и восприятием капитализма, с глобальными трендами.

Но сначала были фундаментальные вопросы Ханны Арендт о природе конформизма. После войны общественное мнение Германии изменилось, что называется, *overnight*. Арендт задавалась вопросом: «Почему в послевоенной Германии не нашлось нацистов? Почему все смогло перевернуться вверх дном во второй раз, попросту в результате поражения?» Ответ, конечно, кроется в человеческой психологии, человеческой стадности, человеческой готовности принимать все, что идет сверху, и адаптироваться к этим новым обстоятельствам: «Столь же важным, но, возможно, еще более пугающим было то, с какой легкостью все слои немецкого общества, включая прежние элиты, не тронутые нацистами и никогда не отождествлявшие себя с партией у власти, пошли на сотрудничество» («Некоторые вопросы моральной философии»).

В 1945 году в одной из статей Арендт писала, что «проблема зла» будет фундаментальным вопросом послевоенной интеллектуальной жизни Европы. Комбинация агрессивного конформизма и обывательского равнодушия составляет основу социальной поддержки режима. Этот феномен описан Арендт в 1954 году в эссе «Угроза конформизма»: «...свобода может иссякнуть посредством какого-то общего согласия, в ходе какого-то почти неосознанного процесса взаимного приспособления. <...> Опасность конформизма и его угроза свободе присущи всем массовым обществам». Самоцензура может быть страшнее и разрушительнее цензуры. Агрессивный добровольный конформизм

может быть страшнее и разрушительнее насильственно навязываемых норм поведения при тоталитаризме.

В то время, уже в ходе войны, начались рассуждения о том, как противостоять регенерации зла тогда, когда оно будет побеждено, что противопоставить конформизму, и мысль человеческая обратилась к противоположности зла, гуманизму. Отсюда — взлет христианской демократии в послевоенное время и появление в Европе партий христианской демократии. Философ Жак Маритен, написавший работу «Христианство и демократия», стал одним из авторов Всеобщей декларации прав человека. Гуманизм и стремление избежать того, что происходило в течение длинной, 31-летней войны (по Хобсбауму) — от начала Первой мировой до конца Второй мировой, — очень серьезно повлияли не только на гражданскую и философскую мысль, но и на принципы управления послевоенными государствами. Солидарность, единая Европа, гуманистические ценности, христианская демократия, социальная демократия, помощь людям... Для чего нужно государство? Для социальной поддержки. Еще в 1931 году была издана энциклика папы Пия XI — она называлась *Quadragesimo Anno*, — где содержалось описание основ социального государства и принципов поддержки людей, находящихся в ущербном (в социальном смысле) состоянии.

Это все сформировало своего рода позитивную послевоенную программу партий, появившихся в европейских странах после войны, — от христианских демократов до социал-демократов. Те люди, которые закладывали фундамент единой Европы, — от Конрада Аденауэра до итальянского послевоенного лидера Альчиде де Гаспери — были христианскими демократами.

Идея создания единой Европы с целью избежать войны и новой катастрофы была ключевой. Вот слова Жана Монне, одного из основателей идеи единой Европы: «Мы не создаем коалицию государств, мы объединяем людей». В послевоенный период возникают новые конституции демократизирующихся государств — от Италии до ФРГ. Большинство европейских стран заново себя переосмысливают, кроме тех, что остались

авторитарными режимами, — Испании, Португалии (их время тоже придет, но не после войны). И вот стандартное определение из европейской конституции (в данном случае итальянской): «Демократическая республика, основывающаяся на труде». Немного социализма, немного христианства, но везде — следы желания избежать войны и внутренней конфронтации. В основе всего — *гуманистические ценности*.

В то же время маркирующим элементом этого исторического периода является холодная война. Сталин фактически превращает Восточную Европу в зону своего влияния, железной рукой проводит там квазивыборы, формирует то, что потом назовут «восточным блоком» и «странами народной демократии». 1946-й — год фактически официального объявления холодной войны. Что к этому привело, показано в главе «Немыслимый альянс» предыдущего раздела. Но важно зафиксировать, что при всех разнонаправленных историях и опасном противостоянии раскол мира на две сверхдержавы и зоны их влияния формировал внятную, по-своему «благоустроенную» ситуацию: понятный враг, понятные сдерживающие факторы, появление атомной угрозы и, соответственно, стремление лидеров (особенно постсталинской эпохи) не допустить ядерной войны, несмотря на гонку вооружений. И эта «благоустроенность» создавала впечатление бесконечности такого мира, его неотменяемости. В каком-то смысле холодная война — это тоже конец истории.

Заканчивался и другой процесс — распад империй и деколонизация Азии и Африки. Своя история, тяжелейшая для нации, была и у французов с Алжиром. При всем разнообразии деколонизационных процессов главный мотив происходившего — это образование национальных государств и исчезновение имперской модели. Что пока совершенно не касалось Советского Союза и его зоны влияния — на нее распространялась «доктрина Брежнева», которую с равным успехом можно было бы назвать и «доктриной Хрущева», не говоря уже о Сталине: те места, где побывал советский солдат, являются контролируемой Советами территорией.

Возник ряд новых явлений. Например, феномен Кубы, поначалу не имевший отношения к коммунизации. Фидель Кастро из вполне прагматических соображений предпочел стать советизированным марксистом, в результате чего весь мир едва не взлетел на воздух в 1962 году. Два Берлинских (1948, 1961) и Карибский кризисы, а также вовремя приостановленный сверхдержавами ближневосточный кризис во время войны Судного дня 1973 года ставили этот по-своему уютный мир холодной войны на грань реальной ядерной катастрофы. Катастрофы, которой удалось избежать.

Важный феномен тех лет — вьетнамская война, которая и психологически, и политически многое изменила в США, расколол нацию и оставив кровавый след в ее сознании.

Однако это и время очередного золотого века. Послевоенное восстановление шло чрезвычайно интенсивно, менялся уклад жизни миллионов людей. Эти процессы, например, отражало итальянское кино. Сначала — неореалистические фильмы, показывающие нищету, ее интерьеры и конфликты. Меняются экономические реалии — и неореализм с экранов сходит. В фильмах итальянских классиков в 1960-е годы появляются образы буржуазного урбанизированного уклада, новых противоречий, включая конфликты уже внутри нового среднего класса и новой аристократии. «Сладкая жизнь» Феллини (1960), «Затмение» Антониони (1962) — это уже другая послевоенная Европа, восстановленная, где проявлялось, как было принято писать в передовом советском киноведении, «отчуждение в буржуазном обществе». Именно что в буржуазном...

Новый средний класс возникал и благодаря урбанизации, которая шла очень быстро. Во второй половине 1960-х численность городских жителей превысила численность аграрного населения: в этом смысле Советский Союз тоже шел в русле общемировых трендов, несмотря на иное устройство экономики.

Вот только одна цифра: парк частных автомобилей в Италии (это отражено в зеркале итальянского кинематографа) составил около 15 миллионов в 1975 году по сравнению с полумиллионом

перед Второй мировой войной. Какое существенное изменение образа жизни!

Еще один значимый феномен — вовлечение Германии во все эти процессы, в общий рынок. Не *исключение* Германии, которое было после Первой мировой войны и которое добавило фрустрации немцам, а, наоборот, *включение* Германии в общедемократические, общецивилизационные, общеэкономические европейские процессы. И конечно, реформы Людвиг Эрхарда — несколько мифологизированные в сознании последующих поколений, но действительно успешно проведенные, они добавили к этому ощущению успеха еще какую-то нотку: нация справилась и с экономическим коллапсом. При этом реформы Эрхарда у нас представляются как социально ориентированные, но если почитать его книгу «Благосостояние для всех» (*Wohlstand für Alle*), где он подробно описывает, как шла эта реформа, то мы видим конфликты на уровне «Егор Гайдар и Верховный Совет РСФСР». Реформа давалась ему, абсолютному, как сказали бы у нас, монетаристу и либералу, крайне тяжело, и все было очень похоже на наши противостояния 1992 года. К середине 1960-х Западная Германия экономически уже была самой успешной европейской страной, обогнав по уровню ВВП на душу населения государства, которые ее после войны оккупировали и поднимали, — Великобританию и Францию.

Нужно учитывать, впрочем, что столь быстрая урбанизация и индустриализация имела свою оборотную сторону: проблема климатических изменений закладывалась как раз в те годы. Двуокись углерода еще не стала экономическим, политическим, экологическим, психологическим феноменом, но все к тому шло. А международная миграция, которая следовала за международной торговлей и новыми географическими схемами разделения труда, создавала основы грядущего миграционного кризиса.

Появился и такой важный в контексте разговора о концах истории феномен, как массовизация высшего образования: она сильно изменила характер западных обществ, сыграла свою роль в том, что студенты стали и политической силой тоже.

Эту эпоху называли «золотым тридцатилетием». Французский экономист Жан Фурастье ввел термин «*les Trente Glorieuses*», «тридцать славных послевоенных лет» (хотя, пожалуй, лучше бы мерить «двадцатипятилеткой»): общество изобилия, общество индустриальное, становящееся постиндустриальным. Появляются самокритичные термины, например «цивилизация холодильников» — так Луи Арагон определял послевоенный экономический успех. Это намек на бездуховность. Сама новая цивилизация начала задумываться о себе: а не слишком ли хорошо мы живем и не слишком ли много внимания уделяем потреблению? Это приводило, как писали в нашей прессе тогда, к «кризису буржуазного сознания». Западное кино и книги, переведившиеся на русский язык, должны были демонстрировать отчуждение человека и этот самый кризис. Посмотрите Антониони — там все ужасно: персонажи хорошо одеты, но они все время что-то такое нехорошее переживают внутри себя. Это и есть кризис буржуазного сознания, «мира вещей», где самое главное — деньги.

Была такая книга французского писателя Жоржа Перека — «Вещи» (1965). Ее даже перевели на русский язык, потому что она показывала бездуховность, зацикленность западной цивилизации на потреблении. Речь там идет о молодой семейной паре, по возрасту несколько старше поколения 1968 года. Жером и Сильвия начинают запутываться в своих желаниях по мере того, как обрастают вещами. Они социологи, изучают общество, но при этом не могут разобраться в самих себе. Им было бы проще в предыдущую эпоху — если бы они родились на десять-двадцать лет раньше: «Они, пожалуй, предпочли бы быть двадцатилетними во время войны в Испании или в эпоху Сопротивления... им казалось, что проблемы, которые стояли... в те времена, отличались большей ясностью». И в результате эта молодая пара погружает себя в консюмеристский раж, они все время покупают вещи, пытаются заработать больше, получить еще больше вещей за эти деньги — это и есть кризис буржуазного сознания (все то, что мы пережили в нулевые годы в России).

Реакция на потребительскую цивилизацию — возникновение контркультуры, отказ от классических буржуазных ценностей послевоенных государств, появление провозвестников этой эпохи в лице, например, Герберта Маркузе, который называл новый антропологический тип «одномерным человеком». Появилось движение, основанное, если угодно, на «МММ»: Марксе, Мао и Маркузе. Последний, правда, отрекся от чести считаться отцом массового студенческого движения. В 1968 году Маркузе вообще находился в Америке и был страшно недоволен тем, что его сделали «новым Марксом». Он совершенно не собирался участвовать ни в каких революциях и даже в одном из интервью тех лет говорил: «Почему все эти студенты считают важным для себя быть неграмотными и невеждами? Я этого не понимаю». Революцию он не поддержал, как, впрочем, и многие культовые мыслители той эпохи, в том числе французы, например Раймон Арон и Жак Деррида.

«Длинный 68-й год». Почему длинный? Потому, что все эти студенческие волнения, все эти философские книги, весь этот «дух 68-го» — всё это стало появляться в середине 1960-х, если не в начале десятилетия.

Протест имел еще одну сторону — террор. «Красные бригады», леваки, которые дружили с палестинцами, — это тоже ответ на стремление к буржуазному благополучию, чопорность, приравнивавшиеся к реакционному типу поведения. Здесь мы можем говорить о феномене Ульрики Майнхоф, банде Баадера — Майнхоф, красных террористах. Ульрика была студенткой Марбургского университета (где училась и Ханна Арендт) и сначала работала в качестве журналиста, публиковалась в журнале *konkret* (так, со строчной буквы, писалось название журнала. — А. К.). Если почитать ее статьи 1967–1968 годов, то там нет ничего, что намекало бы на террор, — только жесткая критика напуганных бюргеров, консервативной власти, буржуазной шпрингеровской прессы. Тогда были протесты против концерна «Шпрингер»: сначала газетные издательства забрасывали пакетами с молоком, потом стали постреливать и совершать

преступления. Гудрун Энслин, ставшая сообщницей и напарницей Майнхоф, была блестяще образованной женщиной, дочерью протестантского пастора. И вот такого рода персонажи ступили на путь террора.

Наступил 1968 год. Вот что сказал о нем Пьер Паоло Пазолини: «Дети буржуазии забрасывают камнями детей бедняков» (ну да, полицейские — это дети бедняков). Позже в молодежном движении он увидит моду. Моду в том числе на длинные волосы — бунтовавшие дети буржуазии сами станут буржуазией. Но это произойдет позже, в 1970-е.

В лозунгах 1968-го были и игра, и искренние чувства, и кокетство, и профессиональное словотворчество. *Sous les pavés, la plage!* — «Под булыжниками мостовой — пляж!» На самом деле большинство слоганов сочинялось профессиональными журналистами или идеологами, потом они вбрасывались в массы, спонтанного в революции было не так уж много.

Процессы изменения сознания происходили в те же урбанизированные и до известной степени раскрепощенные 1960-е годы и в Советском Союзе. Все началось с дела Синявского и Даниэля, когда оформлялось диссидентское движение, когда оно нашло инструменты этого самого протеста. Люди стали выходить на улицы, а власть приспособливалась, как и сегодня, к новым формам нонконформизма, придумывая новые статьи Уголовного кодекса. К 70-й статье УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда» добавилась целая семья статей 190-1, 190-2, 190-3 за менее значимые преступления, за «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Именно потому, что властям нужно было криминализировать любую политическую фронду.

Парадоксальным образом произошла синхронизация революционизирующегося сознания и на Западе, и к востоку от железного занавеса. Но у нас диссидентство носило совершенно другой характер, чем за железным занавесом: скорее, буржуазный, ориентированный против коммунистической власти. А объединяло эти два типа протеста вот что: по большому счету

и там и там речь шла о правах человека, гражданина, повороте к гражданственности. В октябре 1968 году на суде по делу «семерых смелых», вышедших в августе с протестом против советского вторжения в Чехословакию, самое важное сказала Лариса Иосифовна Богораз, которая стала одним из известнейших диссидентов той поры: «Я люблю жизнь и ценю свободу, и я понимала, что рискую своей свободой и не хотела бы ее потерять». И дальше — о мотивах выхода на площадь: «Я оказалась перед выбором: протестовать или промолчать. Для меня промолчать значило присоединиться к одобрению действий, которых я не одобряю. Промолчать значило для меня солгать. <...> Для меня мало было знать, что нет моего голоса “за”, — для меня было важно, что не будет моего голоса “против”». Этот пафос пережил десятилетия и стал моральным стержнем сегодняшнего гражданского движения. Мы стоим на плечах гигантов — тех людей, которые всё уже сформулировали за нас давно, в 1960-е годы.

Один западный славист рассказывает, как в Праге группа иностранных туристов крикнула группе горожан: «Вива Дубчек!» (имея в виду лидера чехословацкого «социализма с человеческим лицом»), а пражане ответили: «Руди Дучке!» (имея в виду одного из лидеров немецкого антибуржуазного движения). С одной стороны, к востоку от железного занавеса вроде бы шла борьба с коммунистами за буржуазный строй, а к западу от железного занавеса было все наоборот, но все-таки пафос был понятен: мы боремся примерно за одно и то же — за права человека и гражданина.

Но Запад и Восток объединяло еще кое-что. Об этом прозорливо писал, например, Джон Гэлбрейт: в экономике — и в западной капиталистической, и в восточной социалистической — все большую роль играли огромные корпорации. Государство и его масштаб, его технократические структуры — вот что стало важно по обе стороны железного занавеса. Наступала «новая индустриальная эра», она же технотронная. Пришло время футуристов, в своих размышлениях о будущем не знавших границ.

Таковы несколько не столь уж маленьких концов истории во второй части нашего повествования. В третьей части мы перейдем к тому, как Запад переварил 1960-е годы, впитал в себя пафос контркультуры и молодежного авангарда, оказался достаточно гибким для того, чтобы пережить 1968-й и начать двигаться дальше. Перестав быть чопорным, буржуазным и потребительским, получив прививку студенческих революций, Запад восстал в очередной раз из мира «Вещей» Жоржа Перека и хаоса студенческих баррикад и устремился к очередному, уже самому явному (фукуямовскому) концу истории.

После всех «закатов»

У них нет ничего своего. В руках безотказный калашников, приезжают они на духовно чуждых им «Сеате» и «Фольксвагене-Поло», от них остаются европейские паспорта. Европа — зона свободы. Кто-то из них провел всю жизнь в тени квартала европейской бюрократии: брюссельский район Моленбек, где выросли авторы террористических атак в Париже в 2015 году, от офисов ЕС отделяет шесть километров.

Европа вырастила их, этих террористов постистории, а они на свой манер похитили ее.

Кто виноват? Какой счет? На второй вопрос есть ответ: счет на сотни жизней европейцев, к которым, хотя бы они того или нет, относятся и россияне.

Сохранит ли Европа свои ценности, равные ценностям всей западной цивилизации, главная из которых — свобода? Или, дезориентированная, напуганная, утратит идентичность?

Европа, сколько себя помнит, то «закатывается», то «погружается в сумерки», то «гниет». Еще у Виктора Шкловского в статье «Гибель “русской Европы”» (1924) читаем ироническое: «...он сам видел, как Запад сгнил на его глазах на углу Таунциен и Нюрнбергштрассе. <...>. Мы ездим по дорогам Европы, едим ее хлеб, но ее не знаем. Только презираем на всякий случай».

Однако по сию пору Европа так и не «закатилась». И мы все так же до недавнего времени ездили по ее дорогам, ели ее хлеб, не знали ее и... презирали и презираем.

Понимали это террористы или нет, но взрывы у *Stade de France* в 2015 году они произвели во время глубоко символического матча Франция — Германия.

С примирения Франции и Германии, с Жана Монне, Робера Шумана и Конрада Аденауэра началось строительство новой Европы, возвращение к универсальным ценностям, чей универсализм ставится под сомнение новейшей историей.

Примирению и началу строительства единой Европы сопутствовало осознание чрезвычайной важности и универсального значения ценностей свободы, прав человека и — торговли.

В важнейшем для европейского сознания документе — Декларации Робера Шумана 1950 года — сказано, что тесные производственные и торговые связи между Францией и Германией сделают войну на европейском континенте невозможной. С этого призыва к совместному производству Францией и Германией угля, а не оружия и началось практическое движение к единой Европе.

Коммерческий интерес, основанный на частной собственности и инициативе, объективно становится ценностью. И это движение от интереса к ценности определяло траекторию развития многих стран в постсоветскую эру, в том числе — до определенного момента — и России. Как когда-то уголь, экономически и потребительски важный источник энергии для послевоенных лет (то есть интерес), был инструментом интеграции Европы, так и оформившиеся за десятилетия западные ценности могли стать для России прагматической основой европейской идентичности.

Что такое *Bosch*? Это бытовая техника, хорошо знакомая россиянам, в том числе тем из них, кто, как свидетельствует социология, демонстрирует исторические максимумы ненависти к Европейскому союзу. Но техника *Bosch* выросла из либеральных ценностей, которые исповедовал основатель компании Роберт Бош и которые до сих пор поддерживает немецкий фонд его имени.

Вроде бы нет уже той послевоенной старой Европы, нет тех идиллических картинок: близорукие старики в старомодных плащах на набережной Сены, ковыряющиеся с неуклюжестью профессора Плейшнера в гигантских потрепанных альбомах с марками... В сущности, ее уже не было, когда Джо Дассен в 1969-м запел о беззаботной и безопасной прогулке по

Champs-Élysées, без рефлекса высматривания террориста в каждом сомнительном, как правило юном, персонаже.

Да и кончилась эта Европа годом раньше, в мае 1968-го, когда чопорный пожилой господин в костюме, галстук, шляпе и хороших ботинках с фото Анри Картье-Брессона наткнулся на исполненный ученическим почерком, как если бы кто-то писал конспект, слоган: *Jouissez sans entraves* — «Наслаждайтесь без границ».

В дневнике Евгении Гинзбург, автора «Крутого маршрута», есть заметки о Париже, куда ее героически вытащил, преодолев сопротивление сонмища советских чиновников, сын Василий Аксенов.

В толпе, записывает она с изумлением, «масса черных и желтых». А это 1976 год. Европа теряет идентичность?

Первые поколения иммигрантов, писал Кенан Малик в статье «Провал мультикультурализма. Община против общества в Европе» (*The Failure of Multiculturalism. Community Versus Society in Europe*) в журнале *Foreign Affairs* (март-апрель 2015 года) были преимущественно секулярными, а те, кто считал себя верующими, в повседневной жизни никак это не проявляли — ехали работать, стремились ассимилироваться. А в середине десятых годов XXI века, приводит данные Малик, треть взрослых турок, проживающих в Германии, регулярно посещают мечеть, и это более высокий показатель, чем в некоторых регионах Турции.

Европа отделила их от себя сама? Отправила в гетто? Не вела диалог? Не сделала равными «старым» европейцам? Заставила тем самым обратиться к варварским «ценностям»?

Виновата Европа? «Проклятые турки», — ворчит сосед главной героини фильма Кшиштофа Кесьлёвского «Три цвета: Красный» (1994), помогая ей починить замок, сломанный хулиганами. Это Швейцария, начало 1990-х.

«Проклятые турки», — выходят на антииммиграционные митинги члены популистских партий.

«Во всем виноваты черные», — рассуждают российские социальные сети. Крайне правые или просто консерваторы становятся популярны во всей Европе.

Рецидив Берлинской стены случился в расширенной после ее падения Европе. Берлинская стена распалась на несколько стен.

Блудные дети новой Европы (с одного бока — террористы, выросшие на европейских харчах, с другого — реагирующие на них крайне правые) тестируют европейские ценности на прочность.

Популярность крайне правых партий и евроскептицизм, антииммигрантские настроения, даже вдруг возрождающийся антисемитизм — реакция на неопределенность будущего, экспансию мигрантских культур, на социальное неравенство, на конфликты по линии Север — Юг и Запад — Восток, на дефицит лидерства. Механика этих реакций описана еще Ханной Арендт в одном из послевоенных эссе: «Солидарность человечества вполне способна обернуться невыносимым бременем, и неудивительно, что обычная реакция на нее — это не энтузиазм или стремление к возрождению гуманизма, а политическая апатия, изоляционистский национализм или отчаянный бунт против любой власти».

Современная Европа — это уже не мир Жана Монне и Робера Шумана, даже не тот мир, который возник после крушения Берлинской стены. То *Grexit*, угроза выхода из Евросоюза Греции, то *Brexit*, дистанцирование от континента Великобритании, то разговоры о «германизации» европейской политики. А теперь вот еще Украина, которая вроде бы объединила Европу, но в то же время обнаружила и новые трещины: Германия думает по-своему, Венгрия и Польша — по-своему...

Однако идеалы этого осложнившегося мира, уже пережившего один «конец истории», как инфаркт, и начавшего новую историю, те же самые.

Ценности — это эмоции, но и прагматизм тоже. Ведь опереться больше не на что — усиление мер безопасности в ущерб свободе не спасает: безопасности не становится больше, зато свобод становится меньше.

«Спротивление материала» европейских ценностей велико. И они адаптивны. Самое же главное — проникли в образ жизни и мысли европейских элит и простых европейцев: не придумано противоядие против терактов, против Путина, зато солидарность миллионов людей, которые не боятся, потому что их объединяют ценности, все-таки существует. Это движение от негативной солидарности, от страха перед исламской угрозой, к позитивной — к сохранению ценности свободы.

Возьмем за гипотезу: новые вызовы, война нового типа не способны поколебать основ демократии, правового государства и рыночной экономики. Европа и теперь не «закатится». Как не закатилась в 1945-м, 1968-м и после иллюзий 1989-го и 1991-го, разочарований последних лет, шока российской «спецоперации».

Во Франции, раздираемой множеством противоречий, к триаде «свобода, равенство, братство» добавился четвертый элемент — *laïcité* (секуляризм). Европейская идентичность корректируется, но сохраняется — это, возможно, слабый, но ответ на вопрос: «Что делать?». В конце концов, бегут не из Европы, а в Европу — из мира варварства в мир цивилизации.

Гэлбрейт умер, да здравствует Гэлбрейт!

Джон Кеннет Гэлбрейт, один из последних великих экономистов XX века, умер в возрасте 97 лет в 2006 году. Он застал сразу несколько концов истории и кое-что сделал для анализа происходящего.

Этот канадец шотландского происхождения, сын фермера и выпускник аграрного колледжа, был во всех отношениях большим человеком. Из-за роста в 6 футов 8 дюймов (более 2 метров), что на два с половиной дюйма превышает предельный размер армейского обмундирования, Гэлбрейт в 1943 году, после отставки с поста главы американского Бюро по контролю за ценами, не попал на войну.

За свою большую жизнь он написал бесчисленное множество теоретических работ, публицистических книг, романов, мемуаров, статей, речей политикам, а также писем редакторам газет. Гэлбрейт был человеком с большим чувством юмора. Его книги разобрали на афоризмы (например: «Экономисты экономны среди прочего по части идей — большинство из них остаются верными своим университетским знаниям на протяжении всей жизни»), а над каждым из своих качеств, отмеченных, в частности, в специальной записке ФБР, — «тщеславием, эгоистичностью и чванливостью» — он блистательным образом иронизировал.

Этот приверженец кейнсианства, практикующий сторонник Рузвельта и Демократической партии, либерал в строго американском значении этого слова (то есть левый) оказал большое влияние на ключевых послевоенных политиков Америки, включая дважды кандидата на пост президента Эдлая Стивенсона и Джона Кеннеди, который любил проводить время с Гэлбрейтом за лобстером в ресторане, а затем отослал его за чрезмерный радикализм во взглядах после победы на выборах послом в Индию, как Брежнев Александра Бовина — из ЦК в газету «Известия». Выдающийся экономист повлиял и на

Линдона Джонсона, по просьбе которого доводил до ума последнюю версию его знаменитой речи о великом обществе, и — в некотором противоречии со своей политической линией — на сенатора Джона Маккарти. В списке консультируемых даже Джавахарлал Неру...

В 1969 году в Советском Союзе вышел перевод одной из ключевых книг Гэлбрейта и одного из базовых произведений XX века — работы «Новое индустриальное общество» (1967). В ней доказывалось принципиальное сходство крупных промышленных предприятий при любой политической системе. В новом индустриальном обществе, где бал правят корпорации и техническая интеллигенция, между капитализмом и социализмом Гэлбрейт находил больше общих черт, чем различий. Впрочем, сходство не помешало социализму без рынка рухнуть, а капитализму с рынком, на ограниченность возможностей которого строго указывал Джон Кеннет, выжить. И совсем не помешало самому Гэлбрейту иронически заметить: «При капитализме человек эксплуатирует человека. При коммунизме все наоборот».

Впрочем, в этой его работе, равно как и в более раннем классическом труде «Общество изобилия» (1958), апология госкапитализма была не главным посылом. Гораздо более важным стал анализ тектонических изменений в экономической и социальной структуре мира. Безотносительно к своим политическим взглядам Гэлбрейт оказался весьма проницательным исследователем индустриального общества и явным образом простимулировал анализ общества постиндустриального: классики Тоффлер, Нейсбит, Белл выросли из гэлбрейтовской шинели. Хантингтон с Фукуямой продолжили его дело как минимум по части публицистического стиля.

В последующие годы, если не десятилетия о Гэлбрейте как-то подзабыли, хотя он и продолжал выдавать на-гора книгу за книгой и статью за статьей, оставаясь верным своей привычке

писать каждый день рано утром по несколько часов. Не до него было: мир входил в постиндустриальную эру, и рушилась с весьма показательным треском целая вселенная — коммунистическая система. И вдруг... Вряд ли Гэлбрейт догадывался, до какой степени актуальным ровно сегодня и строго в России стал его анализ деятельности государственных корпораций. Трудно спорить с классиком с высоты сегодняшнего дня и с учетом особенностей устройства нынешней нашей экономической системы: «Свойственную развитой корпорации тенденцию стать в условиях индустриальной системы частью государственного комплекса нельзя опровергать ссылкой на противоположные тенденции, действующие вне индустриальной системы». То есть, конвертируя слова Гэлбрейта по сегодняшнему политическому курсу, бесполезно противопоставлять всю мощь подпитываемых государством монополий скромному и мало что определяющему успеху отдельно взятого частного парикмахерского салона, обувной мастерской или ресторана. Крупные корпорации решают все и своим предложением определяют спрос.

Вот почему Гэлбрейт — большой человек большой эпохи. Его анализ невозможно превратить в политическое знамя, а его апологию крупных корпораций нельзя перекоммутировать в оправдание экспансии государства. Считая, что власть корпораций способна обслуживать материальные нужды человека (в конце 1960-х Гэлбрейт ничего не знал о нацпроектах, но тем ценнее его прозорливость), он не был уверен в том, что такая система совместима со свободой, хотя и надеялся на благополучный исход: «Опасность, угрожающая свободе, заключается в подчинении общественного мнения нуждам индустриальной системы. Государство и индустриальная система действуют здесь заодно».

«Новое индустриальное общество» — очень своевременная книга. Гэлбрейт умер, да здравствует Гэлбрейт!

На языке площадей

Как наследие диссидентов 1960-х проявлялось в протестах начала XXI века

В феврале 1966 года в Московском областном суде приступили к слушаниям по делу писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Они обвинялись в передаче на Запад и публикации произведений антисоветского содержания. Синявский был осужден на семь лет лишения свободы, Даниэль — на пять лет по ст. 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда».

Дело вызвало не меньший международный резонанс, чем в наши дни — процессы против Алексея Навального. Внутри страны последствия суда оказались еще более серьезными. Под его влиянием сформировалось самосознание слоя, который потом обобщенно стали называть «демократической интеллигенцией», — будущей движущей силы перестройки.

Соблюдайте советскую Конституцию

С этого дела, точнее, с событий вокруг него, в число которых входит первый «митинг гласности» 5 декабря 1965 года, можно отсчитывать начало диссидентского, а в сегодняшних терминах — гражданского движения в СССР. Символического пика этот период, отмеченный несколькими резонансными судами, достиг в октябре 1968-го, когда судили семерых протестовавших против вторжения в Чехословакию.

Все более жесткое и безоглядное подавление инакомыслия и инакодействия в 1968 году сопровождалось политическими заморозками — сворачиванием косыгинской экономической реформы, торжеством «доктрины Брежнева», обосновавшей военное вмешательство СССР в дела стран восточного блока, и бескомпромиссным зажимом любой фронды, даже если она представляла в эстетическом, а не политическом виде (пример такого рода — разгром редакции «Нового мира» Александра Твардовского в 1970-м).

Те, кто протестует сегодня, и те, кто подавляет протест, едва ли осведомлены о деталях противостояния государства и общества более чем полувековой давности. Но совпадения столь очевидны, что нельзя не признать: нынешнее протестное движение непроизвольно повторяет опыт советских диссидентов, а государственные органы находятся в ловушке «эффекта колеи» — технология подавления инакомыслия как будто самовоспроизводится.

За репост теперь можно сесть, но и в те времена сажали за распространение информации — «Белая книга по делу Синявского и Даниэля», составленная Александром Гинзбургом, стала основой для другого шумного процесса — дела Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и Лашковой («процесс четырех») 1968 года.

К слову, процессы эти были, как правило, формально открытыми, но в зал допускались в основном специально отобранные люди по билетам и сотрудники КГБ, изображавшие советскую общественность и время от времени подававшие возмущенные реплики из зала. У зданий суда, как и в наши дни, собирались сочувствующие подсудимым, иностранные корреспонденты и дипломаты. Все они, разумеется, были на карандаше у органов.

Выходивших из зала суда свидетелей, не побоявшихся под угрозой потери работы высказаться в защиту диссидентов, встречали аплодисментами, а в дальнейшем окружали вниманием и поддержкой.

Филолога Виктора Дувакина, уволенного с филфака МГУ за показания в пользу Синявского, защищали открытыми письмами и добились его восстановления на работе, причем на межфакультетской кафедре при ректоре МГУ. Искусствоведу Игорю Голомштоку, привлеченному к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, помогали всем миром, в том числе коллективно выкупали право на его эмиграцию (отъезжавшие

должны были предварительно вернуть государству деньги за полученное образование).

Как и в наши дни, те, кто протестовал и попадал под каток следствия и судебной системы в 1960-е, требовали соблюдения Конституции и в целом норм права. Собственно, с этого мессежа, сформулированного Александром Есениным-Вольпиным, и начиналось диссидентское движение: это была не борьба за свержение советского режима и даже не действия против него в строгом смысле слова, а требование буквального следования букве закона.

Сейчас апелляции к статье 31 Конституции о праве собираться мирно, без оружия имеют тот же смысл. Согласно конституционному праву, нормы главы 2 Основного закона РФ имеют прямое действие, то есть не опосредованное разрешениями и подзаконными актами.

Как и в старые времена, компетентные органы осуществляют превентивные задержания потенциальных участников. Они по-прежнему совершенствуют применение законодательства, используют его «гибко» (как в случае с «санитарным делом», когда преследование формально основывалось на нарушении протестующими санитарных правил, установленных во время пандемии коронавируса). А уж обвинение в дезорганизации дорожного движения — это просто калька с приговоров полувековой давности.

В наши дни законодательство не стоит на месте: ужесточается ответственность за участие в митингах и пикетах, расширяется применение норм об иностранных агентах. В 1960-е годы не всех удавалось посадить по ст. 70 Уголовного кодекса (попытку подорвать основы строя нужно было доказывать), поэтому, напомним, в 1966-м были придуманы статьи 190-1 и 190-3 УК РСФСР: распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а также групповые действия, нарушающие

общественный порядок. Подлинный расцвет применения 190-й статьи пришелся на первую половину 1970-х.

Само качество рассмотрения политических дел постепенно снижалось: судьи привыкали к тому, что можно нарушать процессуальные нормы и не слушать адвокатов. Вполне квалифицированные представители судейского корпуса в диссидентских делах, в отличие от обычных уголовных, пренебрегали доводами и права, и здравого смысла.

Сейчас огромную роль играют защитники задержанных и арестованных — адвокаты, специализирующиеся на протестных делах. Полвека назад выдающиеся адвокаты Дина Каминская и Софья Каллистратова с риском для своей карьеры защищали диссидентов. Софья Васильевна Каллистратова неизменно приходила в казенные места тепло одетой, предполагая, что рано или поздно ее активность может закончиться внезапным арестом. Один из самых блестящих московских адвокатов Борис Золотухин, потребовавший в 1968 году оправдания Александра Гинзбурга, был изгнан из адвокатуры и из партии и в течение двух десятков лет консультировал инакомыслящих неформально на дому. Дина Исааковна Каминская — это ее адвокатской практике посвятил свои стихи Давид Самойлов: «Вся наша жизнь — самосожжение, / Но сладко медленное тленье / И страшен жертвенный огонь...» — вынуждена была эмигрировать.

Промолчать — значит солгать

Невозможность молчать — внутреннее этическое чувство, о котором, как мы помним, говорила Лариса Богораз — это мощный стимул протестной активности.

Это было не политическое, а, по словам Голомштока, «моральное сопротивление». Гражданское движение, а не политическая оппозиция. Оппозиции в принципе не было: малочисленные подпольные группы преимущественно «подлинных

марксистов» (они состояли главным образом из рабочих, а не представителей интеллигенции) быстро ликвидировались и отдавались под суд по той же 70-й или 190-й.

Отношение к диссидентам было вопросом чести и бесчестия, говорило об агрессивном конформизме или уважении к сознательной жертвенности. Проявлялось это точно так же, как и сейчас: в демонстративной, заметной для начальства поддержке действий властей — которые нынче, например, увольняют преподавателей и отчисляют студентов, принявших участие в протестах или обнаруживших негативное отношение к «спеоперации», — или в столь же показательном участии хотя бы в словесной защите преследуемых с пониманием непростых последствий для карьеры или учебы.

Два характерных примера. Известный пушкинист Сергей Бонди добровольно подписал письмо с требованием уволить с филфака Виктора Дувакина, хотя, в сущности, никто его не принуждал к этому. Сотрудник «Нового мира» Юрий Буртин при защите своей диссертации публично поблагодарил Андрея Синявского за ценные замечания к тексту, прекрасно понимая, что кандидатом наук после этого ему не стать.

Процессы становились поводом для информационных войн. Конечно, силы тогдашних государственных и машинописных медиа были совсем уж неравны, но характер их противостояния и стиль шельмования диссидентов схожи с сегодняшними образцами жанра. Кому-то даже не нужно было переступить через свою совесть — обливание грязью давалось легко, потому что, как и у сегодняшних телевизионных киллеров, было профессией. Иные утешали себя тем, что «выполнили приказ».

Когда-то, работая еще в старых «Известиях», я шарахался в коридорах от Юрия Феофанова, классика фирменной известинской журналистики. В перестроечные времена он был большим сторонником демократизации права, хотя до этого

отметился гневными текстами «из зала суда», клеймившими на специальном обвинительном диалекте Синявского и Даниэля. Юрий Васильевич чрезвычайно симпатизировал мне, а я не знал, как с ним в принципе разговаривать после того, что я прочитал давным-давно в ксерокопии «Белой книги» Гинзбурга.

Кстати, в конце 1980-х, когда наступал поначалу осторожный «поздний реабилитанс» советских диссидентов, я работал после юрфака МГУ в Верховном суде РСФСР. Консультанты суда имели возможность запрашивать дела в архиве, чем я воспользовался, попросив для служебных нужд показать мне дело Синявского и Даниэля, ведь в 1966-м на процессе председательствовал лично глава Верховного суда РСФСР.

К моему удивлению, архивное дело состояло только из приговора суда. Знающие люди (но отнюдь не коллеги) объяснили мне, что материалы такого дела могут храниться только в архиве КГБ. Суд общей юрисдикции в этой ситуации был лишь орудием, средством доставки наказания.

Судя по всему, эта межведомственная конструкция преследования «политических» тоже возвращается. Снова становится актуальным и поэтическое восприятие протестов — даже не Галич с его «сможешь выйти на площадь», интуитивно написанным за день до 25 августа 1968 года, а Наталья Горбаневская с ее голосом из 1967 года: «Страстная, насмотришь на демонстрантов. / Ах, в монастырские колокола / не прозвонить. Среди толпы бесстрастной / и след пустой поземка замела. /... / А тот, в плаще, в цепях, склонивши кудри, / неужто всё про свой “жестокий век”?»

Даже география протестов та же, что и полвека назад.

Прага, Париж, Москва — бумеранг 1968-го Чему учат революции полувековой давности

Микеланджело Антониони начал снимать «Забриски-пойнт» в августе 1968-го. Майские протесты студентов в Париже, вылившиеся во всеобщую забастовку, закончились, оставив, впрочем, неисчезающий рубец на социокультурной ткани западного мира, к тому моменту еще свежий. По другую сторону железного занавеса уже отцветала Пражская весна — последние лепестки скоро окажутся под гусеницами танков стран Варшавского договора. Спустя десять лет в «Сталкере» Андрея Тарковского девочка будет взглядом двигать стакан, а пока героиня «Забриски-пойнт», отзанимавшись свободной любовью в пустыне, в конце фильма взглядом мысленно взрывала суперсовременную резиденцию своего босса. Ошметки буржуазной цивилизации, разноцветные, как конфетти, долго, в течение нескольких минут, в замедленной съемке, под композицию *Pink Floyd* парили в жарком небе. Конец фильма предваряло красное солнце пустыни — оно заходило (или всходило?) под композицию Роя Орбисона с характерным названием *So Young* («*Young, so young love was meant to be wild and free...*»).

И хотя Антониони претендовал на то, чтобы передать дух 1968-го, фильм провалился в прокате. Важнее другое: свое как бы антибуржуазное протестное кино в духе «великого отказа» великий итальянец снимал на главной в то время студии Голливуда, *Metro-Goldwyn-Mayer*, средоточии всего пошло-буржуазного. Без обналичивания папиного чека даже коктейль Молотова не организуешь — следует из «Мечтателей» Бернардо Бертолуччи, отметившего этим своим фильмом 35-летие 1968-го. Принципиальный антиамериканизм парижского протеста в результате привел к глобализации американского типа, заметил политолог Ян-Вернер Мюллер. 1968-й, изменив мир и стиль жизни, изменил и моду, и ее атрибуты и в результате обуржуазил саму протестную эстетику.

В январе 1973-го в колонке в *Corriere della Sera* Пьер Паоло Пазолини — безусловно, со своих левых позиций — писал по поводу некогда «хипповских» длинных волос, утративших свою контркультурную семантику: «О чем говорили эти волосы? “Мы не из тех, кто умирает здесь с голоду, не из этих слабо развитых бедняков, застрявших в эпохе варваров! Мы служащие банка, мы студенты, мы дети зажиточных родителей, работающих в нефтяном государстве; мы знаем Европу, мы много читали. Мы буржуазия, и наши длинные волосы — свидетельство нашей принадлежности к современному, международному классу привилегированных лиц”. <...> Круг замкнулся. Субкультура власти поглотила субкультуру оппозиции, сделав ее своей составной частью: с дьявольским проворством она превратила ее в моду...»

Характерно, впрочем, что впервые Пазолини увидел настоящих длинноволосых в Праге. И да, длинные волосы были языком, социальным диалектом протеста. Чего не понимал Пазолини, так это того, что по разные стороны железного занавеса язык протеста различался. И степень риска для обладателя столь специфической прически тоже была разной.

Сердце народа — в заднице СССР

Наш, восточноевропейский бунт заговорил по-чешски. По ту сторону железного занавеса протестующие, не зная других языков сопротивления, говорили по-французски и по-немецки. И эти языки были хорошо адаптированы к диалекту марксизма. Собственно, ничего, кроме этого вокабуляра и его готовых форм, у прогрессивного студенчества не было. Оно, это студенчество, признавалось: «Мне хочется что-то сказать, но я не знаю, что именно» (*J'ai quelque chose à dire mais je ne sais pas quoi*). Претендовавшие на то, что под булыжниками не только пляж (*plage*), но и *page* (страница), особенно ситуационисты с их лидером и автором «Общества спектакля» Ги Дебором, придумывали изысканные слоганы и слали телеграммы лидерам

тоталитарного мира — миллиардерам из Нью-Йорка и Токио и бюрократам из Москвы и Пекина (и это при том, что на улицах хватало маоистов): «Человечество не станет счастливым до того дня, пока последний бюрократ не будет повешен на кишках последнего капиталиста. Точка». Те, кто поинтеллектуальнее, вдохновлялись Гербертом Маркузе, но сам он состоял профессором американских университетов, в своем семидесятилетнем возрасте стараясь держаться подальше от эпицентра европейских событий. Жак Деррида, заявив, что его беспокоит чрезмерная «спонтанность» мая 1968-го, и констатировав, что ему «всегда сложно вибрировать в унисон», вскоре после мятежного мая предпочел отправиться читать лекции в США и обосноваться на некоторое время в Балтиморе.

Улицы стали страницами, на которых ситуационисты писали свои работы, сжатые до лозунга или, если угодно, твита. Это породнит май 1968-го с протестами в России последних лет. Правда, из опыта слоганов мая потом вырастет целая рекламно-маркетинговая индустрия глобалистского буржуазного Запада...

В наших же самых веселых бараках социалистического лагеря марксистский язык выглядел совершенно иначе. Лидеры Пражской весны никогда не выступали против социализма — об этом потом писали и говорили все причастные к чехословацкой перестройке, от Александра Дубчека до Зденка Млынаржа. Сама Пражская весна не была протестом и уж тем более чем-то антирусским или антисоветским. Чешская, точнее, чехословацкая идентичность обретет более внятные очертания только потом, после танков. Милан Кундера писал в романе «Неведение» о ЧССР после августа 1968-го: «Никогда страна не была до такой степени отечеством, чехи — до такой степени чехами». А пока чехословацкое руководство во главе с Александром Дубчеком приделывало социализму человеческое лицо. И возвращало сердце народа туда, где ему и

надлежало находиться: из уст в уста передавалась подлинная история чешской старушки, написавшей в Нобелевский комитет письмо с просьбой присудить премию по медицине Антонину Новотному, чехословацкому руководителю до Дубчека, «потому что ему удалось пересадить сердце народа в задницу СССР».

Они не думали о демонтаже социализма, так же как советские диссиденты, чья идентичность по-настоящему сформировалась после ареста в сентябре 1965-го Андрея Синявского и Юлия Даниэля, не думали о том, чтобы свергнуть советскую власть. Они требовали соблюдения советской Конституции, гласности процесса Синявского и Даниэля, других процессов, посыпавшихся как горох. Они не отрицали институты, как их собратья во Франции или Германии, которых не устраивали любые легальные демократические процедуры, включая выборы.

Не боролись с советской властью и адвокаты, ставшие знаменитыми благодаря судам над диссидентами. Просто они имели смелость буквально толковать нормы советского уголовного закона.

Советский протест был совсем не похож на западный. В тоталитарном государстве вышедшие на площадь знали, что пойдут напрямиком в тюрьму — в полном соответствии с учениями Ленина, Мао и прочих икон Парижа 1968-го. Западные протестующие тоже сталкивались с жестокостью полиции, но уже тогда, когда протесты разворачивались в жанре бескомпромиссной уличной герильи.

Уже упомянутая талантливая журналистка Ульрика Майнхоф, пока она окончательно не радикализировалась и не занялась прямым и жестоким красным террором, объясняла логику своих разногласий с властями Западной Германии и всего западного мира и в статье 1967 года «Напалм и пудинг» (журнал *konkret*, № 5), посвященной студенческим протестам против войны во Вьетнаме, саркастически подытоживала: «Таким

образом, преступление не напалмовые бомбы, сброшенные на женщин, детей и стариков, а протест против этого. <...> Преступны не террор и пытки, применяемые частями особого назначения... но протест против этого в “свободной” стране». Спустя год в статье «От протеста — к сопротивлению» (*konkret*, 1968, № 5) она поясняла: «Граница, разделяющая словесный протест и физическое сопротивление, была перейдена в демонстрациях протеста против покушения на Руди Дучке... Шпрингеровские газеты лишь сжигали, теперь же была сделана попытка заблокировать их доставку. <...>. Шутки кончились».

Бумеранг 1968-го

Танки в Праге стали признаком и символом не силы, а слабости. Чешский диссидент из пьесы Тома Стоппарда «Рок-н-ролл» объяснял: «...просто наши соседи волнуются, как бы их собственные рабы не взбунтовались, если увидят, что нам все сошло с рук». Точно так же сегодняшние российские власти воспринимали все украинские Майданы, вместе взятые, и «арабскую весну» — как инфекцию цветной революции. И потому поспешили взять большинство нации в союзники, инкорпорируя Крым, а затем начав «спецоперацию».

Доктрина Брежнева — ограниченный суверенитет стран советского блока — собственно, и была направлена на то, чтобы избежать эффекта домино: история успеха сопротивления хотя бы в одной стране, тем более столь значимой, как Чехословакия, могла вдохновить соседние страны на проекты либерализации. И тогда бы СССР лишился внешнего контура империи, по сути — зон влияния, буферных государств. Точно так же нынешний российский истеблишмент оценивал Украину и как зону влияния, и как буферное государство — территорию, отделяющую Россию от более или менее враждебного Запада.

Советский Союз боялся и другого успеха выходящих из-под контроля зон — экономического. Чехословацкая реформа

оценивалась как возвращение к капитализму. И она действительно могла выглядеть куда более убедительной, чем заведомо обреченная на провал в условиях «социалистической формы хозяйствования» косыгинская реформа.

1968-й бумерангом вернулся два десятилетия спустя, когда фактически в роли Александра Дубчека оказался Михаил Горбачев, а народ и партия стали на короткое время едины в желании перемен. Остановить Горбачева мог только он сам: над ним не стояло брежневское Политбюро. Течение событий заставило его возглавить ту лавину, сход которой он сам спровоцировал. Трудно предположить, произошло бы с Дубчеком то же самое, что потом стало с Горбачевым, — тот, кто дал свободу, должен был быть готов к тому, что она станет неуправляемой. «Дубчекоманию» могла со временем остановить более масштабная либерализация, а самого его могли заместить новые герои нации. Собственно, таким героем как раз двадцать лет спустя и стал Вацлав Гавел.

К власти в Праге пришел «шестидесятивосьмидесятник». Ничего подобного не произошло в западном мире: в одном из интервью Даниэль Кон-Бендит обратил внимание на то, что Францией никогда не правили *soixante-huitards*, сколько-нибудь заметные фигуры мая 1968-го. Пройдя через 1968-й, капитализм и его элиты изменились и адаптировались к новым реалиям. Герберт Маркузе, Жан Бодрийяр, Ги Дебор описали их: одномерный человек, общество потребления, общество картин, общество спектакля — только эти свойства оказались не признаками упадка, а симптомами адаптации. Западный мир продолжил в соответствии со старым советским анекдотом свое цветущее загнивание («Загнивает, но зато как пахнет!»). А Советский Союз вместе с советским блоком пал.

Три конца истории

1968-й казался, да и оказался концом истории старой западной цивилизации в том виде, в каком она сохранилась после 1945 года, — царство всеобщего благоденствия, бюрократии и технократии, буржуазного самодовольства, общества потребления, «подкупившего» рабочий класс. Лидеры мая 1968-го так и не поняли, что пришла эра западного среднего класса, который потом поглотит и революционеров, и их контркультуру, обратив на пользу капитализму нового типа. По определению Одо Маркварда, революционеры конца 1960-х боролись с тиранией, которая не была тиранией. К тому же «это новое отрицание буржуазности на деле способствовало не демократизации, а прежде всего возрождению симпатий к революционным диктатурам». Тирания оказалась просто слегка устаревшей моделью капитализма, которому пришла пора поменять кожу, — место чопорного, длинного и худого, как древко флага, генерала должна была занять девушка-хиппи. Она и заняла, очень скоро став не символом протеста, а привлекательным образом новой буржуазности: актриса Джеки Рэй в образе девицы-хиппи, только очень стильной и чистенькой, красовалась на обложке журнала *Playboy* за сентябрь 1970-го. В номере был опубликован не только очерк о «революции абортов», но и отчет о встрече Герберта Маркузе со студентами в Нью-Йоркском университете. «Среди студентов растет антиинтеллектуализм. Однако нет никакого противоречия между интеллектом и революцией. Почему вы боитесь быть умными?» — недоумевал философ, чье имя стало одним из символов мая 1968-го.

Философия прекрасно смотрелась в будуаре: Маркузе в *Playboy* — так выглядела буржуазность после 1968 года.

Сразу несколько исторических пластов наложились друг на друга. Буржуазная цивилизация, замкнутая, по формуле Эрика Хобсбаума, в «кольце общественных зданий» — биржа,

университет, Бургтеатр, ратуша, парламент, музеи, Гранд-опера, вокзал, собор, — казалось, канула в Лету. Культура, получившая сокрушительный удар в конце 1960-х от контркультуры, перестала быть продуктом «меньшинства для меньшинства». Отныне она изделие массового производства. Обновленная западная цивилизация в эпоху пост-1968 стала еще более привлекательным примером для коммунистического Востока.

Эра пост-1968 продлилась до 1989-го — года «бархатных революций», догнавших историю и обозначивших ее очередной конец в виде победы либерализма и демократии западного типа. Восточная Европа, пережившая развал Габсбургской империи, а затем фашизм, потом оказавшаяся в тени советского имперского проекта, избавилась от многодесятилетнего морока. И ей, казалось бы, уже не нужно было искать свою идентичность: вот демократия, вот либерализм, вот военные, финансовые, организационные институты Европы — якорей сколько угодно. Но прошло еще двадцать лет — и история в очередной раз начала содрогаться то ли в родовых, то ли в предсмертных муках: пришла эра, которую за неимением других определений назвали эпохой «популизма».

История, закончившаяся в 1968-м, а затем еще раз — в 1989-м, началась заново.

И вот опять «улица корчится безъязыкая» в поисках нового языка, способа разговора между правительствами и обществами, теми, кто раньше был левым и правым, а теперь стал непонятно кем. И вот против призрака новой тирании восстают новые «раздраженные» приверженцы демократии и либерализма старого типа, выходящие на улицы Варшавы и Будапешта. А в Париже, как и 50 с лишним лет назад, — протесты против капитализма и погромы в «Макдоналдсе» и автосалоне «Renault».

Пародия на 1968-й... И, как более полувека назад, протесты приверженцев универсальных демократических ценностей в

Восточной Европе оказываются более благородными по смыслу и мирными по форме по сравнению с безмозглой бузой западноевропейских людей в черном, в прошлом — в красном. Опять, как и тогда, на востоке Европы — антитоталитарный протест, на западе — прокоммунистический. У прежних протестовавших более полувека тому назад не было другого языка, кроме заемного, но, по крайней мере, был стиль. Этот стиль безвозвратно утрачен... Здесь уже не отделаться фразой о том, что история повторяется. Какая-то новая история начинается. Какая бабочка выпорхнет из куколки протестов по обе стороны тепер уже невидимого железного занавеса? С каким рисунком на крыльях?

«Реформам — да, карнавалу — нет!»

В 1968-м Запад вступал в постиндустриальную фазу развития, а она требовала новых устоев — более свободных, раскрепощенных, гибких, менее иерархичных, жестких, формализованных. В течение всех 60-х годов накапливалась энергия, которая должна была вырваться наружу. И она вырвалась — в Париже. Май закончился июнем, все вроде бы вернулось на круги своя. Но не только Франция — мир уже стал совсем другим.

В это же самое время, когда Запад раскрепощался под лозунгом «Запрещено запрещать», Советский Союз, напротив, закрывался: система почувствовала опасность подземных теплых токов свободы. Оттепель закончилась танками в Праге в августе того же 68-го. Но и СССР, несмотря на «окаменение имперского дерьма» (термин Мераба Мамардашвили), тоже стал другим: инакомыслие превратилось в часть подлинной общественной и гражданской жизни. 30 апреля 1968-го вышел в свет первый номер машинописного бюллетеня под названием «Хроника текущих событий». Мир стал меняться самым решительным образом.

Взорвавшаяся стабильность

Поздравляя французов с новым 1968 годом, президент Шарль де Голль назвал Францию «островом стабильности». Выдающийся интеллектуал Ролан Барт в одной из своих статей констатировал: «Революционная идея на Западе мертва. Она теперь в иных краях». А Пьер Вианссон-Понте, автор редакционных комментариев газеты *Le Monde*, в своей колонке под характерным заголовком «Франция скучает» (*La France s'ennuie*) от 15 марта 1968 года писал следующее: «Молодежь скучает. Студенты выходят на улицы, протестуют, сражаются в Испании, Италии, Бельгии, Алжире, Японии, Америке, Египте, Германии, Польше. Им кажется, что их могут понять, что они будут услышаны (по крайней мере, им мнится, что они противостоят абсурду). А французских студентов занимает только одно: будут ли свободно допущены девушки учебных заведений Нантера и Антони в комнаты к юношам, как будто к этому сводится все их понимание прав человека».

Газетчик иронизировал, а зря: спустя несколько дней возникло движение студентов Нантера под названием «22 марта», которое возглавил Кон-Бендит, выходец из семьи немецких евреев, бежавших во Францию в 1933 году от нацистов. 3 мая все началось всерьез, хотя и здесь отчасти неосторожно повел себя ректор Сорбонны Жан Рош, натравивший полицию на студентов, собравшихся в знаменитом внутреннем дворе университета. Немотивированная жестокость стражей порядка натолкнулась на не менее жесткое сопротивление.

Спустя неделю в Париже появились баррикады. А к 21 мая бастовала вся страна — студенческий протест одними был поддержан, а другими, например коммунистами, которые скептически относились к студенческому движению, просто использован. Правда, тогда союз студентов и левых воспринимался более чем серьезно. Андре Мальро писал: «Встреча

студенческой стихии со стихией пролетарской — факт беспрецедентный». Писатель, который потом, в июне, участвовал в демонстрации в поддержку де Голля, поставил абсолютно точный диагноз: кризис западной цивилизации. Только это был не тупиковый кризис, а кризис развития. Студенты оказались лишь индикатором того, в какую сторону будет развиваться западная цивилизация.

Либеральный пафос

Главной в мае 68-го, и это признает Кон-Бендит — бывший лидер «буйных», написавший книгу «Забыть 68-й» (вышла на русском языке в 2008 году), убежденный сегодня, что легитимные демократические процедуры важнее тогдашнего «насилия против насилия», — была идея свободы и автономии личности. Студенческая революция, переросшая во всеобщую забастовку, была социалистической лишь по форме, диалекту, средствам самовыражения. Просто другого языка, жаргона протеста, тогда не было. Корневой, подлинный пафос революции был как раз абсолютно либеральным, если угодно, буржуазным. Антибуржуазная по внешним признакам революция — баррикады, красные флаги и прочие «пиво, девки, беспорядки» — оказалась глубоко буржуазной по сути, потому что утверждала права личности. К тому же тогдашняя Франция была достаточно иерархизированным обществом, а государство в экономическом смысле тяготело то ли к социализму, то ли к государственному капитализму. Институты государства перестали соответствовать вызовам времени. Попросту говоря, они устарели. О чем и сигнализировали студенческая революция и общенациональная забастовка. Это была революция сознания. А новое сознание требовало новых институтов.

Едва ли случайным было то обстоятельство, что даже к востоку от железного занавеса в 60-е состоялась оттепель, начались попытки экономических реформ — в Венгрии, СССР,

Чехословакии. Впрочем, Пражская весна наглядно продемонстрировала, куда именно ведет мирная революция сверху: малейшее раскрепощение экономики немедленно сопровождалось расширением степеней свободы во власти и в обществе. Тут же появлялись свободная пресса, общественно-политические движения и даже призрак многопартийности. В спорах лидера чешского «социализма с человеческим лицом» Александра Дубчека и советского генсека Леонида Брежнева, безусловно, прав был последний. Дубчек считал, что в политической свободе ничего страшного нет, все останется как было, только жить людям будет лучше и веселее. Леонид Ильич предостерегал, что это разрушает основы социалистического строя. Чистая правда! Почему, собственно, не удалась косыгинская реформа? Она уперлась в потолок социалистического типа хозяйства: чтобы получить результат, нужно было переходить к капитализму и частной собственности. Но на то были политические ограничения. Почему могли оправдать себя чехословацкие экономические реформы? Потому что им постепенно стала соответствовать политическая система. Но именно перемен в политической системе и не могли допустить советские старшие братья.

Оружие студенчества

Если в российской политической традиции рабочий класс, скрежеща зубами, обливаясь потом и надрываясь, вырывал из земли булыжники нешуточных размеров, французская молодежь швырялась мелкими европейскими камнями с почти балетной грацией. Это у сумрачных русских рабочих булыжник — грубое, как топор неандертальца, оружие. А у наполненного адреналином и тестостероном французского студенчества — «Под булыжниками — пляж!»

Революция-68 — это было красиво. 1968-й — это было искусство. Плакаты и слоганы вошли в историю. Аллегорическая

легкость обнаруживалась во всем. Стоило объявить Кон-Бендита персоной нон грата во Франции, как тут же было придумано: «Мы все — немецкие евреи!» С этого момента и пошла традиция отождествления гражданского общества с жертвами государственного произвола, то самое «Я/Мы», хорошо известное российскому протестному движению.

Революция прошла, шатры политического цирка свернули, а искусство и ощущение того, как легко было метать камни на бульваре Сен-Мишель или улице Гей-Люссака, остались. Возможно, еще и поэтому нынешние французы, у которых есть аллергия на перемены, так хорошо, с долей романтической ностальгии относятся к событиям тех дней. Им кажется, что в Мае выражен французский дух — невыносимая легкость и сексуальность бытия. Революция сознания была еще и революцией нравов.

Студенческой власти не получилось, потому что это абсурд: студенчество может быть только в оппозиции. А вот студенческая революция удалась. «Мир чистогана» благополучно перешел от индустриальной стадии к постиндустриальной в результате почти бескровной революции-1968. Маркс был снова посрамлен. Май 68-го, возможно, и не объяснил мир — кроме языка плакатов и слоганов, у него не было иных средств выражения, — но уж совершенно точно его изменил. И даже спустя десятилетия надо очень внимательно изучать его уроки. Главный же из них изложен в афоризме генерала де Голля — не хуже уличного творчества: «Реформам — да, карнавалу — нет!» Но для того, чтобы сказать это, нужно было быть лидером уровня де Голля.

Папин чек против булыжника

Бернардо Бертолуччи — автор киноверсии майских событий 1968 года, популярно разъясняющей *Zeitgeist*, дух революционного времени, решительно непонятный сегодняшним молодым. Не случайно он снимал фильм «Мечтатели» аккурат в год 35-летия студенческой революции, словно бы отмечал тем самым юбилей. Эта лента — историко-методическое пособие, попытка показать поколение родителей, а заодно генерацию дедушек с бабушками, шпаргалка для нынешних студентов, изучающих историю по учебникам, где нет плоти и крови, — особенно полезна для российской молодежи, получающей высшее образование в нескончаемую эпоху Путина. Словно бы понимая это, мастер завернул сложный материал в понятную простым юношам и девушкам эротическую обложку. Так обучают маленьких детей — в игре, чтобы им не было скучно.

При всей сознательно культивируемой поверхностности «Мечтатели» напоминают многослойный пирог: одному зрителю понравится голая девушка, и заодно он узнает о том, что в 1968-м в Париже была какая-то заварушка; иные определяют киноцитаты и поймут, что главная героиня считает себя родившейся в тот день, когда она посмотрела «На последнем дыхании» Годара; другие полезут еще глубже, узнавая не только эпоху, но и фрейдистские штучки, и так до бесконечности. Показывая нонконформизм 1968-го, Бертолуччи словно продолжил свое исследование противоположного явления — конформизма в «Конформисте» (1970).

«Мечтатели», учебное и исследовательское кино, очевидным образом перекликаются с киноэпохой конца 1960-х и даже, скорее, начала 1970-х, потому что именно тогда великие мастера начали переосмысливать уроки 1968 года в частности и контркультуры в целом. Последняя на глазах бронзовела, из маргинальной субкультуры превращалась в мейнстрим,

то есть катастрофическим для себя образом обуржуазивалась, распадалась на цитаты и модные аксессуары.

Для Бертолуччи-2003 важны мотивы насилия и ненасиления, хотя он и дистанцирован от мая 68-го во времени. Когда 68-й год еще был с пылу с жару, когда его уроки занимали всех серьезных философов того времени, когда философией было кино, а учебником жизни — увязший в марксизме и структурализме журнал *Cahiers du Cinéma*, в ту же проблему был погружен исследователь тонких душевных движений, свойственных представителям высшего класса послевоенной Италии, — Микеланджело Антониони. В 1970-м он снял «Забриски-пойнт», где черные студенты отстаивали практику насилия, а белые — теорию ненасильственного сопротивления.

Ключевая, последняя сцена «Мечтателей» — это киноразбор проблемы, имеет ли насилие смысл: Тео променял родительское коллекционное вино из семейного подвала на коктейль Молотова (а у самого в голове коктейль из Мао, *Cahiers du Cinéma* и кинопотока XX века), Мэтью благоразумно удаляется с баррикад.

В «Мечтателях» вроде бы нет прямых аллюзий на Висконтиев «Семейный портрет в интерьере», вышедший в прокат спустя шесть лет после 1968-го, но весь фильм Бертолуччи смотрится как облегченная и адаптированная цитата из Лукино Висконти. Профессор, главный герой «Портрета», заточён в своей роскошной старой квартире и отказывается от связи с внешним миром. «Мечтатели» тоже запираются в квартире, как если бы они поселились в декорациях Висконти. Профессора возвращает к реальной жизни бойкая молодежь, бегаящая по комнатам голышом и занимающаяся сексом; те же самые занятия, сообразно духу времени и гиперсексуальному возрасту, увлекают героев Бертолуччи — Тео, Изабель и Мэтью. Насилие пробуждает к жизни профессора: фашиствующие персонажи убивают Конрада, обуржуазившегося бывшего активиста 1968

года. Насилие спасает от смерти бертолуччиевскую троицу: булыжник, оружие пролетариата, разбивает окно заполняемой газом квартиры.

Принципиальное различие Висконти-1974 и Бертолуччи-2003 в том, что последний с высоты постиндустриальной эпохи не судит своих персонажей и не указывает, кто прав, а кто не прав. Правы и одновременно не правы и те, кто отправился швырять коктейли и камни в полицию, и те, кто отказывался от насилия, потому что оно бессмысленно и провоцирует ответное насилие.

Из «Мечтателей» невозможно извлечь уроки. 1968 год слишком далек от сегодняшней повестки, в том числе российской. Альтюссер с Лаканом кажутся неудобоваримой тарабарщиной и неспособны привести что-либо в объяснение сегодняшних событий. Годаровские фильмы для новых поколений сложны и скучны. Контркультура если и возникала в последние годы в мировых и российских мегаполисах, то исключительно для того, чтобы немедленно переплавиться в массовую культуру, эстрадное шоу. И потому 68-й с его «мечтателями» — это всего лишь история, просто история, оживленная эросом. У ироничного Бернардо Бертолуччи, киносредствами лишаящего невинности уже вторую красавицу-актрису (Эву Грин вслед за Лив Тайлер в «Ускользящей красоте»), пафос молодежного протеста полностью девальвируется тем, что без обналичивания родительского чека и употребления внутрь папиного вина юноши и девушка не могут существовать физически. Буржуазные матценности побеждают силу интеллектуальной революции, запертой в квартире, а потом вырывающейся на баррикады, которые не способны защитить молодые жизни. Уж лучше папин чек, чем смерть на улице, где под булыжниками — пляж.

Ребрышки Брежнева, мозги Ульбрихта

Весной 1968 года Александру Евгеньевичу Бовину, тогда работавшему в ЦК, знакомые привезли из Чехословакии меню придорожной корчмы: «Печень Яноша Кадара; ребрышки Леонида Брежнева; мозги Вальтера Ульбрихта; язык Владислава Гомулки; яйца Тодора Живкова». Цензура была де-факто отменена не только в ресторанном секторе, но и в печати. К августу 1968-го дело дошло до публикации карикатуры на Брежнева, а министр внутренних дел ЧССР Йозеф Павел отказался давать команду конфисковать тираж: «Если я уступлю раз, уступлю другой, то мы вернемся к тому, что уже было. Тогда тоже все начиналось “в виде исключения”, а потом стало нормой».

Судя по всему, Павел имел в виду февральские события 1948 года, когда коммунисты пришли к власти в Чехословакии. 10 марта 1948-го последний беспартийный член коммунистического правительства, Ян Масарик, был найден мертвым во дворе министерства иностранных дел (до сих пор располагающегося в Чернинском дворце в Градчанах) под окнами своей служебной квартиры, которая сейчас так и называется — *Masarykův byt*. Несколько лет назад я стоял у окна, из которого выбросился или был выброшен Масарик. Эффект присутствия в истории — абсолютный. Подоконник находится довольно высоко, и самоубийце или убийцам явно пришлось приложить немало усилий, чтобы министр иностранных дел и сын первого президента Чехословакии оказался в оконном проеме. Версий до сих пор много — по одной из них, Масарик спасался от преследователей по карнизу внутреннего двора Чернинского дворца и сорвался вниз...

5 апреля 1968 года на пленуме ЦК компартии Чехословакии была принята Программа действий КПЧ «За развитие социалистической демократии». За экономическую часть отвечал Ота Шик, чей план экономической реформы десятилетия

спустя изучался будущими реформаторами российской экономики, за политическую — Радован Рихта, придумавший словосочетание «социализм с человеческим лицом» (из чего можно было заключить, что у обычного социализма лицо античеловеческое).

Началась Пражская весна, феномен, который стал предвестником развала коммунизма, но для начала — преддверием заморозков в Советском Союзе. Тогда тоже умели «бомбить Воронеж» и страшно боялись распространения либерализационной инфекции с ближнего Запада, который считался советской зоной влияния. Боялись за Украину, за советскую интеллигенцию, за студенчество Польши и Венгрии... Брежнев говорил Александру Дубчеку, не прекратившему сопротивление и после вторжения войск Варшавского договора, что самостоятельной политики у чехословаков нет и быть не может, потому что ЧССР находится в пределах территорий, которые освободил советский солдат. А «границы этих территорий — это наши границы».

Такое понимание мира как зон влияния потом назовут «доктриной Брежнева», или доктриной ограниченного суверенитета. Каждая страна восточного блока была важна как элемент внешнего контура империи — своего рода буферная империя 2.0. Не так ли воспринимают в нынешней России Украину — как часть «русского мира», который на самом деле лишь квазиимперия?

После Второй мировой Густав Гусак предлагал присоединить Словакию к Советскому Союзу. Про другую страну говорили: «Курица не птица, Болгария не заграница». Подавление венгерского восстания в 1956-м показало, как готов действовать СССР, даже находившийся в стадии десталинизации. Все говорило в пользу того, что к чехословацким событиям советское руководство отнесется со всей серьезностью.

Как без Украины был немислим Советский Союз, так и без Чехословакии, Венгрии, Польши, тех стран, которые теперь относятся к Вишеградской группе, не мог существовать восточный блок. Поэтому Брежнев, к которому был вхож цековский либерал и спичрайтер Бовин, не устроило предположение Александра Евгеньевича, что ЧССР просто станет чем-то вроде Югославии или Румынии в группе «стран народной демократии», а издержек от ввода войск будет гораздо больше, чем приобретений. Никакого «веселого барака» в соцлагере тогдашнее Политбюро не могло позволить — потерять Чехословакию означало потерять все и, возможно, получить эффект домино.

Члены Политбюро довольно быстро поняли, что либерализация затеяна именно новым руководством Чехословакии, таким вроде бы симпатичным и динамичным, и что оно совершенно не собирается сдерживать низовую демократизацию. Правда, поверить в то, что коммунистические ЦК и правительство могут отменить цензуру и смотреть сквозь пальцы на то, что пишется в газетах и говорится в клубах, Москве было непросто: Брежнев с изумлением выслушивал уверения Дубчека в том, что ничего страшного не происходит. А потом, как бы оправдываясь, рассказывал на Политбюро о содержании своих разговоров с «Сашей» (он же «Александр Степанович»).

Советское руководство рассчитывало на «здоровые силы» в чехословацких верхах. Самым «здоровым» был глава ЦК компартии Словакии Василь Биляк, который обсуждал тактику и стратегию подавления «социализма с человеческим лицом» с московским связным и географическим соседом — первым секретарем ЦК компартии Украины Петром Шелестом, человеком крайне жестким и решительным.

«Здоровые силы» явно проигрывали, и при всем своем нежелании Политбюро было вынуждено вести разговоры с Александром Дубчеком и главой правительства Олдржихом

Черником, последовательно проводившими реформы. 16 мая на заседании Политбюро прагматичный Алексей Косыгин рассуждал о том, что ввод войск необходим, но следует оценить, насколько мощны «здоровые силы», не следует ли привести в действие «рабочие вооруженные отряды».

Эта омерзительная логика — имитация «народного» противостояния реформам — была дополнена дезинформацией (демократизация якобы затеяна ЦРУ и разведслужбами ФРГ), а также классическими чекистскими провокациями, столь же гадкими, сколь и неуклюжими. В июле, например, были «обнаружены» закладки тайников с американскими автоматами, правда почему-то времен Второй мировой. США снабжают контрреволюцию оружием, сообщила советская пресса. Происхождение автоматов было быстро выяснено: они хранились на складах советской группы войск в ГДР. А план идеологических диверсий, «разработанный в ЦРУ» и обнародованный в газете «Правда» (!), был подготовлен прямо на Лубянке службой «А» (служба дезинформации) КГБ СССР.

С 28 июля по 1 августа на пограничной железнодорожной станции Чиерна-над-Тисой велись решающие переговоры между советским и чехословацким руководством. «Каждое утро наш состав пересекал границу, — вспоминал Александр Бовин, — и мы плавно въезжали в Чиерну-над-Тисой. Переговоры велись в фойе клуба железнодорожников. Охраны — тьма. Никаких фото- и киноаппаратов. Но, вернувшись в Москву, я увидел на развороте журнала “Пари-матч” запечатленное заседание, даже себя обнаружил. История не любит тайн».

Брежнев и его свита натолкнулись на отчаянное сопротивление «нездоровых сил». Дошло до прямых обвинений и оскорблений. Косыгин отказывался разговаривать с одним из чешских руководителей, «галицийским евреем» Франтишеком Кригелем. Потом, когда чехословаков прямо перед вторжением привезут в Москву — то ли в качестве договаривающейся

стороны, то ли в качестве арестантов, — антисемитские выпады в адрес Кригеля и Оты Шика повторяются. Косыгин, когда речь шла о внешнеполитических вопросах, становился ястребинее любого ястреба. А здесь, может быть, он еще и завидовал: то, что планировалось в 1965-м как экономическая реформа в СССР, к 1968-му фактически захлебнулось, а чехословаки вовсю готовили уже настоящую реформу, доказав, что она возможна только на фоне политической демократизации. Роскошь, которую советская власть себе позволить не могла.

Для вторжения советскому руководству нужна была письменная просьба «здоровых сил». Эти самые силы, боясь попасть в историю во всех смыслах слова, сомневались и сопротивлялись — понимая, впрочем, что они должны быть помазаны одной кровью с советскими танками, проехаться на них безбилетниками не получится. И потому под гарантии неразглашения фамилий согласились подписать письмо. В Братиславе на совещании компартий 3 августа Биляк через сотрудника КГБ передал это письмо своему постоянному контрагенту Шелесту. Передача состоялась в туалете. На всякий случай семья Биляка была эвакуирована в Киев. Фамилии подписавших стали известны, по свидетельству Бовина, в 1992 году.

Так осуществлялось вторжение — по просьбе анонимных чехословацких бюрократов, содержащейся в письме, которое стыдливо передали в туалете.

В апреле 1969-го Дубчека заменят на Гусака. Но чуть раньше, 21 марта, на чемпионате мира по хоккею, перенесенном из Праги в Стокгольм, состоится акт мести: на 33-й минуте матча ЧССР — СССР счет откроет защитник Ян Сухи, а на 47-й Йозеф Черны забросит вторую безответную шайбу в ворота Виктора Зингера, заложив основу иронической поговорки — «во рту сухи, в глазах черны». Чехословаки говорили: «Вы нам танки, мы вам — бранки (шайбы)».

1968-й, ставший годом рубежных перемен — и политических, и социокультурных — в западном мире, позволивших, говоря в марксистских терминах, мировому капитализму приспособиться к новым вызовам и снова выжить, оказался годом окончательной заморозки в социалистическом лагере. Заморозка означала не решение проблем, а откладывание их на потом. И это «потом» рвануло с удесyтеренной силой спустя 20 лет, когда «бархатные революции» изодрали в клочья железный занавес.

Восточноевропейских вождей не спасли ни «гуляшный социализм» (то есть некоторые его облегченные — по сравнению с СССР — образцы, например венгерский), ни пристальный надзор спецслужб, ни вечная дружба народов, скрепленная страстным поцелуем Брежнева и Хонеккера. СССР добровольно отказался меняться и еще более ожесточенно стал бороться за свои зоны влияния, тем самым подписав себе смертный приговор с отсрочкой исполнения.

Граждане против танков

Пражская весна завершилась поздним летом. Советский Союз с этого момента вошел в ледниковый период — долгую политическую зиму, символом которой стал процесс над участниками демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года, выступавшими против вторжения.

Несмотря на видимую эффективность подавления демократической фронды в одной из ключевых стран внутри зоны влияния СССР и показательную жесткость устранения, казалось бы, крошечной внутренней пятой колонны, события августа 1968-го стали началом конца советской империи. Сила и решительность, продемонстрированные в одном случае Политбюро и военной машиной СССР, а в другом — судебным механизмом, полностью подчиненным решению политических задач, оказались проявлением страха и слабости.

Отдельные советские обыватели превращались в граждан, и не все были готовы ограничиться «молчаливым резистансом». Есть люди, которые могут подавать голос и ценой собственной свободы (в уголовно-правовом смысле) оставаться свободными в несвободной стране.

Известную теорию Альберта Хиршмана, которая касается прежде всего поведения фирм и потребителей, — «выход — голос — лояльность» — совершенно справедливо применяют к политической реальности. Когда человек чем-то недоволен, у него есть несколько вариантов поведения: просто самоустраниться, предпочесть другой «товар», уйти во внутреннюю или внешнюю эмиграцию; проявить (имитировать) лояльность, принять правила и играть по ним; подать свой голос против. Разумеется, большинство предпочитает третью опцию — лояльность. Галич ее описывал так: «Сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, а за».

И тем не менее процессы в обществе, которые начались с демонстрации на Пушкинской площади в декабре 1965 года и требования гласности суда над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем, привели к тому, что молчать стало невозможно.

Произошло самое страшное для власти, о чем Анатолий Яковсон писал: «После суда над Синявским и Даниэлем, с 1966 года, ни один акт произвола и насилия властей не прошел без публичного протеста, без отповеди. Это — драгоценная традиция, начало самоосвобождения людей от унижительного страха, от причастности к злу». Этих людей было очень мало, но именно они меняли массовое сознание — от брошенных ими камешков сопротивления пошли гигантские круги по воде.

Лариса Богораз, Татьяна Баева, Наталья Горбаневская, Константин Бабицкий, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов, Виктор Файнберг — после того, как в 1966 году была расширена «правовая» база для подавления инакомыслия, — знали, на что шли. Шли в тюрьму или в психушку. И сегодня

мотивы тех, кто выходит на площадь, и тех, кто стоит по ту сторону баррикад, те же самые, что и более полувека тому назад. Одни не могут молчать, другие, защищая власть, власть силовиков, творят все, что хотят.

Во время процесса над вышедшими на площадь в августе 1968-го адвокат Софья Каллистратова объясняла суду смысл советского права, ту суть, которую правоприменители готовы были лишь имитировать: «Пока закон не предусматривает уголовной ответственности за взгляды, убеждения, идеи, независимо от того, каковы они, до тех пор сам факт развертывания плакатов не может считаться преступлением. Ведь это будет расширительным толкованием законов». Ее коллега Каминская добавляла: в действиях протестовавших отсутствовал важный элемент состава преступления, предусмотренного 190-й статьей, — «заведомая ложность». Таковой не было, потому что вышедшие на площадь были убеждены в своей правоте.

После 1968-го казалось, что в обществе наступила гробовая тишина, «скоплений людей» больше нет, если кто и подает голос, то он почти не слышен. Кого-то сажали, уже не считаясь с формальностями, кого-то вынуждали эмигрировать. «Политические» в массовых масштабах сидели или находились в ссылке во всех мыслимых географических точках СССР. Но общественное мнение уже было не заставить замолчать, подземный пожар ждал лишь повода, чтобы вырваться наружу.

Спустя десятилетия после августа 1968-го «Адвокатский вальс» Юлия Кима звучит как отчет из сегодняшних соцсетей: «Судье заодно с прокурором / Плевать на детальный разбор — / Им лишь бы прикрыть разговором / Готовый уже приговор. / Скорей всего, надобно просто / Просить представительный суд / Дать меньше по сто девяностой, / Чем то, что, конечно, дадут». Однако в повторяемости истории — ее же и урок. Расширение уголовных репрессий и подавление

общественной активности, нарочитая глухота по отношению к общественному мнению, пренебрежение духом и буквой закона — это слабость, а не сила. Страх потерять контроль, а не твердая уверенность в себе.

Репутацию страны в августе 1968-го спасли те, кто вышел на площадь. Герои российской истории — все они, от Ларисы Богораз до Виктора Файнберга, а не государственные деятели и военачальники, вводившие танки в Прагу. История нашей страны — это не история начальников и военных, а история людей. История граждан, способных испытывать стыд за свое государство, но гордиться своей страной.

Как там у Кима: «Ой, правое русское слово — / Луч света в кромешной ночи! / И все будет вечно хреново, / И все же ты вечно звучи!»

1968–1989 — КОНЕЦ ИСТОРИИ (НЕ ПЕРВЫЙ И НЕ ПОСЛЕДНИЙ)

Период 1968–1989 годов завершается вполне понятным, самым заметным, конвенциональным, обсужденным (хотя в результате и непонятым) концом истории — распадом коммунистического блока и появлением статьи Фукуямы, которая констатирует наступление новой эпохи и фронтальное распространение европейских цивилизационных универсальных ценностей. 1968 год прошел небесследно для буржуазной капиталистической цивилизации, она вобрала в себя контркультуру, впитала революционный пафос, трансформировала его во что-то вполне удобное для капитализма. Начались 1970-е годы.

1970-е стали в некотором смысле абсорбцией последствий «долгого 68-го года». Этот период явился новым витком обуржуазивания западной цивилизации: произошел отказ от пафоса, революционных принципов шестидесятых.

В то же время 1970-е — это экономический, нефтяной кризис. А еще это попытка двух непримиримых противников, США и СССР, несмотря на идеологическое и военное противостояние, несмотря на прокси-войны, в том числе войну во Вьетнаме, найти точки соприкосновения. Это очень интересный процесс, когда в конце 1960-х в администрации Никсона возникло предположение, что советская власть лишь прикрывается марксизмом как некоей ширмой, а на самом деле в СССР зреют процессы внутреннего обуржуазивания, режим становится прагматичным и с ним можно торговать, сотрудничать и договариваться. Между командой Брежнева и командой Никсона после ряда неофициальных переговоров начали устанавливаться отношения на практических (прежде всего торгово-экономических) основах.

Этому было и интеллектуальное объяснение. Тогда, в 1960–70-е, появлялись книги футурологов или экспертов, которые формировали представление о современном мире и его будущем. В предыдущей части нашей книги мы уже знакомились с наследием Гэлбрейта, написавшего труд о новом индустриальном

обществе, о том, что различия между капиталистической и социалистической цивилизацией, с его точки зрения, стали не так велики, потому что на передний план выходят большие корпорации и управляющие ими технократы. Государственно-социалистические ли это корпорации, или государственно-капиталистические — это в концепции Гэлбрейта примерно одно и то же. В каком-то смысле его выводы перекликались с идеями Андрея Сахарова о конвергенции двух систем. Андрей Дмитриевич, впрочем, имел в виду немного другое: взять что-то хорошее из одной системы и из другой, — это был хотя и утопический, но по-своему правильный взгляд на мир.

Тогда же появляются работы Элвина Тоффлера, предсказывающие приход технократических менеджеров как основного класса, который управляет миром, будь то мир социалистический или капиталистический. (Его выводы отчасти перекликаются с опубликованной в 1941 году книгой Джеймса Бернхема «Революция менеджеров».) Тоффлер предсказал и коммуникационную революцию, и развитие неформальных гражданских организаций, и рост значимости горизонтальных связей в противовес гэлбрейтовским корпорациям.

1970-е годы, когда зарождались тенденции последующих десятилетий, были отмечены важным феноменом: наступил период *détente*, разрядки (сам термин возник еще в конце 1950-х, но реализована была идея только в 1970-е). Под Хельсинкским актом 1975 года о правах человека поставил свою подпись Брежнев.

Я был школьником, когда появились сигареты «Союз — Аполлон». Прошел слух, что в них настоящий вирджинский табак, — наверное, поначалу так оно и было. До сих пор помню, как выглядела эта пачка сигарет. Сейчас представить себе такого рода событие, чтобы наши стыковались с американцами в космосе, да еще отмечали это событие выпуском новой марки сигарет, невозможно. До какой глубины дошла тогда разрядка международной напряженности!

Фотография, где Никсон катает Брежнева на машине. Фотография, где Никсон дарит лимузин Брежневу, где они плывут

по Потوماку на катере, с ними вместе люди с каменными лицами — наши функционеры. Это потрясающие образы поразительного времени.

Строительство завода по производству пепси-колы в Новороссийске тоже удивительное событие: мирное вторжение Запада на нашу территорию.

Росли нефтяные цены и формировалась модель позднесоветского благополучия — жизнь на нефтедоллары. Тогда возникло ощущение, что близок мини-конец истории под стандартным советским названием «мир во всем мире».

Все это происходило, напомним еще раз, в обстоятельствах вьетнамской войны, которая формально закончилась в 1973-м Парижским мирным соглашением, но де-факто завершилась в 1975-м, когда коммунистические северовьетнамские войска заняли южновьетнамскую столицу Сайгон. Это происходило на фоне подавления диссидентства в Советском Союзе, превращения Сахарова и Солженицына в фигуры всемирного значения. Состоялись демократические революции в Испании, Португалии и Греции — последних автократиях старой Европы, что было неким продолжением послевоенных процессов, когда существенная часть европейских стран встала на путь демократизации, — назовем это догоняющей демократизацией. И в этом смысле начало и середина 1970-х казались благостным временем.

Особое значение имел переворот в сентябре 1973 года в Чили, когда Пиночет сверг президента-левака Сальвадора Альенде. Для коммунистического мира чилийский кейс был образцом народно-освободительной борьбы, а для сторонников рыночных преобразований стал спустя некоторое время эталоном успешных либеральных экономических реформ. Но он вынудил также задуматься над соотношением авторитарного типа правления и рыночных преобразований. Задуматься над тем, возможна ли авторитарная модернизация на костях людей.

Советский Союз пережил также очень интересный период, который мы знаем как застойный. В конце 1974 года у Брежнева был инсульт, и так получилось, что медицинские причины

спровоцировали негативные политические последствия: разрядка стала постепенно сворачиваться, отношения с Западом ухудшались. 1979 год — вторжение в Афганистан. Оно покончило с иллюзиями по поводу разрядки примерно так же, как вторжение в Чехословакию в 1968-м временно покончило с представлением о том, что с Советским Союзом можно в принципе иметь дело. Мир вернулся в состояние глухой конфронтации, гонки вооружений, экономическое положение Советского Союза ухудшалось.

Это было чрезвычайно мрачное время. События в Польше стали образцом попыток сопротивления становящемуся все более неэффективным коммунистическому режиму. Степень контролируемости этих процессов было трудно определить. Особенно трудно — советским руководителям. Но впервые после прецедентов 1956 года в Венгрии и 1968-го в Чехословакии войска не были введены в Польшу. Брежнев от этого сознательно отказался. В каком бы сумеречном сознании генсек ни находился, он все-таки не был «ястребом», несмотря на то что вошел в Афганистан. Очевидно, было ощущение у советской верхушки, что сил и ресурсов на удержание империи в широком смысле, то есть включающей не только территорию Советского Союза, но и Восточную Европу, уже маловато. Это был интересный сигнал. Поляки стали разбираться сами с собой, в том числе с помощью введения чрезвычайного положения.

Началась «гонка на лафетах» — череда смертей вождей: Брежнев, Андропов, Черненко. В истеблишменте ощущалась усталость от геронтократии, и было сделано многое для того, чтобы еще один геронтократ не сел на трон (а ведь мог — или Гришин, или Романов). Возник консенсус: нужно выдвигать молодого и динамичного человека, и его миссией должно стать придание импульса экономике, потому что экономика в те годы была в очень тяжелом состоянии, хотя еще держались высокие цены на нефть.

Общественное мнение — оно в те годы было, скорее, катакомбным — ждало каких-то изменений, не надеясь на них. Но даже первые секретари обкомов и аппаратчики ЦК КПСС хотели

перемен. И в этом смысле Горбачев оказался консенсусной фигурой, о чем сейчас все напрочь забыли.

Соответственно, началась новая эпоха, импульс к более свободной жизни пошел сверху. И он встретил ответное движение снизу. Это очень важный момент, который характеризует историческое развитие России. Все реформы начинались сверху. Все модернизации останавливались тоже сверху. Даже иные цари начинали как реформаторы, когда они еще не были царями (Александр I, Николай I), но как только приступали к практическому управлению, то немедленно переходили к авторитарной модели. Горбачев начал открывать ворота для разнообразных свобод, в том числе экономических. Однако реальные изменения в рамках социалистического строя, конечно, были невозможны. И в какой-то момент общество стало опережать в своем развитии государство, которое давно притормаживало.

Эти процессы, происходившие на самом верху коммунистической пирамиды в Советском Союзе, пошли волнами и обрели благодарных слушателей и деятелей и в Восточной Европе. Так постепенно и Советский Союз, и восточный блок приблизились в 1989 году к периоду «бархатных революций», к эпохе конца истории.

1989 год, Прага. Вацлав Гавел приветствует гигантскую массу своих соотечественников — это настоящий конец истории. Это ощущение того, что марксизм и коммунизм уже никогда не вернуться. Из Восточной Европы пошел обратный импульс в СССР — советская империя тоже начала очевидным образом распадаться, а вот этого как раз Горбачев и не хотел.

Естественным образом экономика также двигалась в сторону обуржуазивания. Горбачев не желал трогать отношения собственности. Он мог допустить частную собственность только как один из укладов. Именно с этим были связаны его метания, его непоследовательность. Но само развитие общества и развитие событий в экономике в результате подталкивали к тому, что Советский Союз неизбежно стал политически и экономически разваливаться. Конец истории по Фукуяме состоялся.

Гибель богов по-русски

Жизнь не столько подло, по Набокову, сколько карикатурно подражает художественному вымыслу. Лукино Висконти, как представитель старого аристократического рода, всегда подолгу и не щадя съёмочные группы работал над деталями пышных, как торт, интерьеров и пахнущих потом и пудрой костюмов. И ему было бы интересно показать гибель новых русских богов в обстоятельствах новорусской дворцово-парковой архитектуры, тем более что все чаще в последние годы нам удавалось заглянуть в самое нутро этих дворцов, включая предназначенный для самого главного начальника.

Да, эти интерьеры — карикатура. Этакое дизайн-бюро «Висконти». Но какой замах!

Чем наши русские современники — новое дворянство, офшорная аристократия (термин В. Суркова), *Crème de la Kreml* (В. Радзивинович) — хуже или лучше висконтиевских героев?

Ничто человеческое, в том числе аморальное, им не чуждо. А тяга к упадническим интерьерам и аристократическим ландшафтам возникает автоматически с первым заработанным миллионом долларов. Сколько таких драм, подражающих Висконти, таят в себе Рублево-Успенское и Подушкинское шоссе, и не только они!

Мы живем в хаотическом и необъяснимом мире, смысл которого невозможно расшифровать километрами русских сериалов и тоннами легковесного ракушечника слов. Зато работают другие слова: «Никогда такого не было, и вот опять».

Это «опять» и в самом деле повторяется — как трагедия, как фарс, снова как трагедия, заново как фарс. А затем как катастрофа. Происходит упадок, один за другим, семей и Семей — со строчной и прописной буквы.

Упадок проистекает, как правило, и из неумения приноровиться к новым обстоятельствам, и от самих попыток

приспособиться к ним. Это показал в «Будденброках» Томас Манн, столь любимый Лукино Висконти. Ключевое слово в историях такого рода — «конформизм». Жан-Луи Трентиньян одной своей ролью в «Конформисте» Бернардо Бертолуччи, работавшего вполне по-висконтиевски, обрисовал модельную сдачу и гибель не отдельных людей, а целых социальных групп в условиях авторитарных режимов.

Политическим элитам во всех странах нужно каждый вечер показывать «Конформиста», фильм, которому уже более полувека, чтобы пробуждать если не совесть, то страх перед самими собой.

Почти каждая картина Висконти — о падении. Гениальный фильм «Гибель богов» — он ведь, разумеется, о нацистской Германии, которая, как показал режиссер, кончилась, едва начавшись (действие происходит в 1933-м). Но это также фильм о любом упадке и любой сдаче. О мотивах и оправданиях. И о коллективной ответственности.

Глава большого промышленно-финансового клана Иоахим фон Эссенбек прямо перед смертью, о приближении которой он и не подозревает, сбивчиво объясняет: «Вы должны признать, что я никогда не благоволил к этому режиму... Вы все знаете, что у меня никогда не было и никогда не будет никаких отношений с этими господами... Вместе с тем интересы завода... наша производственная деятельность вынуждают нас... поддерживать с этими людьми ежедневные контакты. Вот почему я ощущаю неизбежную необходимость иметь рядом человека, который этот режим приемлет, что могло бы гарантировать нам...»

От них, от их заводов ведь требовалось только железо, ничего больше.

В синопсисе «Гибели богов» Никола Бадалукко, Энрико Медиаоли (идея сценария, кстати, принадлежала ему) и сам Висконти настаивают на личной ответственности каждого немца за то, что произошло с Германией.

Поясняя замысел картины, Висконти уточнял: «Непротивление злу приводит к его абсолютизации». В том числе непротивление внутри элит. Сдача и гибель в фильмах Висконти ведь происходит не в лачугах бедняков, а в рембрандтовских сумерках родовых замков.

Об ответственности — и «Семейный портрет в интерьере». С годами интерьеры у Висконти становились строже и лаконичнее, а «Семейный портрет» уже можно было превратить в театральную постановку со скупыми декорациями. Если бы мастер не скончался, он бы снял еще более камерную драму — кино по «Волшебной горе» Манна, где действие фильма должно было разворачиваться исключительно в больничной палате. Там даже не было бы Давоса, как в «Портрете» почти нет Рима. Упадок и гибель требовали все меньше квадратных метров жилой площади.

В своей самонадеянности мы считаем наше время самым ужасным и непредсказуемым. Но это свойство любой эпохи.

На протяжении десятилетий, уже чуть ли не веков происходят все эти хэллоуинские страшилки — «смена мирового порядка», «закат Европы», «сумерки Запада». А типажи остаются прежними.

«Семейный портрет» снят в 1974-м, и это время казалось тем, кто внутри него жил, вовсе не лучше нашего: Италию тогда захлестнула волна черного и красного террора, неофашистский заговор представлялся вполне реальным — во всяком случае, Висконти верил в его возможность. И в «Семейном портрете» режиссер предьявляет всех ответственных: от бывшего активиста мая 1968-го Конрада и его любовницы, жены затевающего неофашистский мятеж магната, до профессора, отгородившегося от жизни и «черствеющего в созерцании искусства». Бездействие, конформизм и бездумность — это, получается, тоже ответственность.

Висконти могли бы понравиться сценические обстоятельства нашего «Семейного портрета». Представим себе

активиста Болотной 2011–2012 годов, перекинувшегося в противоположный политический лагерь, и бездетного старика, отключившего телевизор с поющими на одной высокой ноте прокремлевскими ток-шоу, но и не желающего ни во что вмешиваться: «Интеллектуалы моего поколения считали, что нужно как-то уравновесить политику и нравственность. Тщетно». И никто из персонажей «Семейного портрета» ни за что не отвечает, даже в бытовом смысле, потому что один из них — «собачонка госпожи», а другой живет наедине с *conversation piece*, коллекцией семейных портретов, не имея семьи и детей, за которых мог бы быть в ответе.

У Висконти профессор эту семью обретает и немедленно теряет, когда Конрада сначала калечат, а затем убивают за то, что он выдал властям участников заговора. Снова распад того, что едва начало оживать.

После гибели Конрада и его предсмертной записки с подписью «Твой сын» профессору остается лишь ожидание собственной кончины — сам Висконти говорил, что он рассказывал эти истории «как реквием». В том числе и по самому себе: после премьеры «Портрета» режиссеру оставалось жить меньше двух лет.

Его грандиозный панорамный «Леопард», такой расточительный в изобразительных средствах и потому столь непохожий на «Семейный портрет», в сущности, та же семейная сага со смертью главного героя и сбором всей семьи. В «Леопарде» коллективная сцена происходит на легендарном висонтиевском балу.

Там же можно найти и главный политический рецепт конформизма, приносящего успех. Для тех, разумеется, у кого хватает не только гибкости позвоночника, но и ума следовать разумному конформизму. Например, аристократу иногда полезно повоевать в отрядах Гарибальди, чтобы потом примкнуть к новым хозяевам. Герой Алена Делона Танкреди Фальконери, лишенный демонизма, но не прагматизма, произносит

главное: «Если мы хотим, чтобы все осталось как есть, нужно, чтобы все изменилось».

Кажется, интуитивно это понимал даже Черномырдин с его «Никогда такого не было...». Закон Танкреди Фальконери так и не был выгучен нынешней госкапиталистической аристократией: возглавить изменения, чтобы сохранить свои позиции, им мешало порождавшее счастливую слепоту и глухоту самодовольство. Но уроки распада от Висконти еще никто не отменял, и представители нашей аристократии все-таки стали актерами в пародии на гибель висконтиевских богов.

Перестройка: от какого наследства отказался Путин

Анатолий Черняев, немного сумрачный человек, фронтовик, партийный интеллектуал, полжизни проведенный в сером здании ЦК КПСС на Старой площади, а впоследствии помощник Михаила Горбачева, в течение нескольких десятилетий вел подробный дневник — поразительную летопись страны изнутри центра ее власти.

11 марта 1985 года Михаил Сергеевич Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. После этого события Черняев записал в своей тетради: «От Горбачева многого ждут, как начали было ждать от Андропова. А ведь нужна “революция сверху”. Не меньше. Иначе ничего не получится. Понимает ли это Михаил Сергеевич?»

Горбачев это понимал, но лишь отчасти: генеральный секретарь и предположить не мог, что, ослабив гайки, допустив гласность и элементы рыночной экономики, он потеряет не только социализм, но и саму империю.

Перестройка была революцией ожиданий. Ждали перемен после двадцати лет, в которые уместились брежневский застой и «гонка на лафетах» (за два с половиной года умерли три

генеральных секретаря-геронтократа). Ждали смены лидера. И появление Горбачева было воспринято страной с облегчением. Это факт, даже если сегодня об этом никто не помнит.

«Горбимания» — феномен популярности Горбачева на «старом» Западе и в Восточной Европе: он дал свободу восточному блоку, сорвал железный занавес и избавил мир от страха ядерной войны. Но сначала был этап феерической популярности внутри страны.

С народом у Горбачева получилась любовная химия, но именно поэтому от него ждали белой магии: чтобы все было по-прежнему, чтобы можно было целыми днями гонять чай в бессмысленных советских учреждениях, но при этом прилавки ломались бы от товаров и вообще жизнь стала хотя бы как в ГДР или Венгрии, а еще лучше — как в Западной Европе. Оказалось, что так не бывает: надо много работать и адаптироваться к новым обстоятельствам. Горбачеву этого многие простить не могут до сих пор. Как не простили Борису Ельцину обещанного к концу 1992 года изобилия и стабильности. Как не простили Егору Гайдару того, что он взял на себя ответственность за либеральные реформы.

Архитекторы перестройки действительно понимали ее как революцию. Отчасти это была дань позитивному значению слова в связи с переосмыслением романтического наследия Великой Октябрьской. Но и характер, и глубина преобразований действительно «дотягивали» до революции. Доклад Горбачева в 1987 году к очередному юбилею 1917 года назывался «Октябрь и перестройка: революция продолжается». Достаточно было очистить Ленина от Сталина, и в социализме обнаружись бы нераскрытые источники энергии. Горбачев думал, что революция окажется социалистической, соединяющей Ленина — и демократию с ее свободным рынком. Такого исторического оксюморона — соединения несоединимого — не получилось, да и не могло получиться.

Безусловное достижение Горбачева — «новое политическое мышление», открытость миру, окончание холодной войны, сближение с Западом. Подобного рода конвергенция ценностей позволила в 1989 году Фрэнсису Фукуяме сделать вывод о «конце истории». Реальность и последующее течение событий оказались сложнее, но Фукуяма был абсолютно прав в том смысле, что процесс, начатый Горбачевым, по большому счету и должен был привести к историческому ценностному единству Запада и России. От рецепции этих ценностей выиграли все: государство становилось более гуманным, общество — более раскрепощенным.

Одним из результатов перестройки стала институционализация выборов как инструмента демократии. Тем самым был создан механизм для легитимного формирования власти и ее смены. Появилась ценность, разделяемая и народом, и перестроечной элитой. Но не самой властью: Горбачев, когда КПСС начала терять популярность, решил стать президентом СССР, но на всенародные выборы не пошел — его избрал Съезд народных депутатов, по сути коллегия выборщиков.

Горбачев начал экономическую реформу, но был так непоследователен в ее проведении, что цена ее к 1991 году необычайно возросла. Запустив процесс демократизации, он потерял Балтийские страны, а затем пытался навести там «порядок» силой. Долго сопротивлялся раскрытию правды о секретных протоколах к пакту Молотова — Риббентропа и о Катынском расстреле, но в итоге был вынужден признать исторические факты. Он прекратил Афганскую войну, однако в 1989-м этот жест уже не мог добавить ему популярности.

В какой-то момент консерваторам Горбачев стал казаться разрушителем, не контролирующим ситуацию, а в глазах радикалов он, напротив, выглядел консерватором. Время потребовало нового лидера. Борис Ельцин, ставший президентом

России в еще не распавшемся СССР, оказался популярнее президента Советского Союза.

Горбачев бежал впереди лавины, делая вид, что не спасается от нее, а руководит ею. Но иллюзий по поводу управляемости общественных процессов не было у первых секретарей союзных республик, которые видели себя безраздельными хозяевами своих стран. Уходили Украина и Казахстан, без которых СССР даже с Россией в качестве метрополии не был бы империей.

Закончив холодную войну, Горбачев, казалось бы, победил. Но потом выяснилось, что большинство нации сочло это поражением. Распад империи, обанкротившейся экономически и морально, в наши дни большей части россиян представляется, как сказал Владимир Путин, величайшей геополитической катастрофой. Половина респондентов Левада-центра говорят, что лучше бы все оставалось так, как было до перестройки.

Потенциальная перестройка 2.0 — самый большой страх Путина. Перед его глазами пример Горбачева, который, дав свободу, победил историю, но потерпел личное поражение. Путин делает все наоборот и находится у власти не шесть лет, как Горбачев, а больше двух десятилетий. Но в отказе от наследия перестройки кроется возможное поражение Путина, которое он сегодня считает своей победой.

И потому Горбачев победил — *sub specie aeternitatis*. У его наследия все еще впереди.

Единственный европеец

Так случилось, что 25 ноября 1990 года Мераб Мамардашвили, совсем недавно, 15 сентября, отметивший свое 60-летие и отправлявшийся из Москвы в Тбилиси, умер в аэропорту Внуково. После его смерти сначала быстро развалился СССР, потом начались реформы и транзит к капитализму, затем — сворачивание реформ, а вместе с ними и демократии.

Всего этого Мамардашвили не увидел. Он переехал в тбилисский квартал Ваке еще за десять лет до смерти, стремясь домой, но и желая того, чего, по его мнению, должен был бы всегда искать философ, — «одинокости и тишины».

Записи с его лекциями, больше похожими на размышления вслух, уже давно ходили по стране, как магнитофонные ленты с песнями Александра Галича: андеграундные тексты — напетые и наговоренные — были наполнением тогдашних интеллигентских социальных сетей.

Едва ли бóльшая часть публики до конца понимала, о чем толкует бархатным баритоном грузинский Сократ, но тот, кто вслушивался, — понимал. Для советской власти непосредственной угрозы от этих философских размышлений не было, однако слушать Мераба (его единственного называли по имени, как античных философов) означало принадлежать к касте «молчаливых резистантов».

Сам Мераб категорически считал, что философ не может работать в подполье, он должен делать все открыто. (Оксюмороном ему казалась и подпольная культура.) Более того, не его это дело — публично протестовать и, как он сам говорил, «носить отличительный колпак». И это притом, что его делали невыездным, лишали работы — все как положено.

Он просто жил несоветской жизнью в советских обстоятельствах — в своей спартанской неотопливаемой комнате с широким окном, выходящим в тбилисский двор, в окружении

книг на французском и итальянском языке, в клубах табачного дыма. Человек не отсюда. Гражданин мира.

Александр Зиновьев, высмеявший советскую власть в «Зияющих высотах», зло посмеялся и над всеми своими друзьями-философами: персонаж, в котором читается Мераб, весь такой западный, в иностранных вельветовых джинсах.

А Мамардашвили таким и был и совершенно не стеснялся этого: работая в начале 1960-х в Праге в журнале «Проблемы мира и социализма», в свои 30 с небольшим он уже стал гражданином мира. И контакты его, прежде всего французские, были выражением в том числе и философской позиции. Он дружил с журналистом Пьером Бельфруа, и эта дружба отмечена фотографиями, где Мамардашвили — в пижонских белых штанах, человек оттуда.

Он тесно общался с Луи Альтюссером, *enfant terrible* французского марксизма, их переписка опубликована. Удивительно, как столь разные люди нашли друг друга: каждый оказался окном в незнакомый мир для другого, включая возможность почти откровенно исповедоваться. В глухие 1970-е Мераб признавался Альтюссеру: «Ты не мог бы мне написать? Знаешь, без твоих новостей все как-то меркнет. Как нет сейчас просвета и в моей жизни. Я все больше погружаюсь в работу, в метафизические глубины, к чему меня подталкивает — отдаю себе в этом отчет — глухое отчаяние и неприятие всего вокруг, и я утратил способность выражать свои мысли и храню молчание».

Перестройка буквально вытолкнула Мамардашвили в «пророки в своем отечестве»: он уже не просто читал лекции, но и выступал в буквальном смысле слова как публичный интеллеktуал. В статусе известного стране публичного интеллеktуала – во власти или вне ее — тогда оказались самые разные люди. Членкор АН Сергей Аверинцев — народный депутат СССР, академик Дмитрий Лихачев — народный депутат СССР. Пастырь нации — отец Александр Мень (его убили в сентябре

1990-го — вместе со смертью Мамардашвили это была интеллектуальная и моральная катастрофа для страны). Когда такое могло бы повториться, да еще с сопутствующим ощущением окончательного пробуждения нации и необратимого движения ее к сияющим вершинам общечеловеческих ценностей, демократии и рынка?

Многочисленные беседы и лекции Мамардашвили того времени лишены праздничного энтузиазма. Скептический и одинокий ум и тогда мешал ему радоваться. Но именно в те годы он, по сути, разработал внятную концепцию избавления от морока «тысячелетней», как сказали бы сейчас, российской истории, которую он считал страшным бременем.

Он полагал, что тот же сталинизм вовсе не извращение и не отклонение от исторического пути империи, а естественное его продолжение. Напротив, скорее, времена либерализации — некоторое отклонение от неизбывного кошмара, и как раз конец 1980-х дал слабый шанс закрепиться на новой невиданной траектории.

Любая мутация, говорил философ, немедленно отбрасывает страну в 1937 год. Незакрепленный опыт ведет к возвращению в колею.

Чтобы не вернуться в колею, настаивал Мераб, нужны невероятные усилия: мускулатуру гражданского общества надо развивать, свободу — практиковать ежедневно и последовательно, иначе ничего не получится.

Усилие — вообще одно из ключевых понятий философии Мамардашвили. Просто чтобы остаться человеком, нужно совершать усилия. Не этому ли учил весь страшный опыт XX века?

«...Человек — это прежде всего усилие во времени, постоянное усилие стать человеком. Ведь человек — это не естественное, не от природы данное состояние, а состояние, которое творится непрерывно».

Это цитата из его доклада в Париже в январе 1988 года на симпозиуме «О культурной идентичности Европы». Доклад

называется «Европейская ответственность». Европа пребывает в благодной иллюзии: восточный блок избавляется от коммунизма, впереди только счастье, основанное на разделяемых всеми и привлекательных для всех европейских ценностях. А Мамардашвили предупреждает европейцев: стоит расслабиться, и человек снова окажется гол и безъязык, упадет в пучину «современного варварства». Европе нужны ежедневные усилия для того, чтобы оставаться Европой.

Что это, если не забытое предупреждение и пророчество: Мераб словно увидел западный мир 2010–2020-х годов — растерянный, судорожно пытающийся спасти свою идентичность и мобилизоваться после долгих лет отсутствия усилий, в том числе мыслительных.

Европа стала Европой, потому что была проделана работа. Иной раз — многовековая. В одном из интервью, опять же французам, он говорил: «Свобода приходит в силу того, что ее практикуют. <...> Научиться свободе можно только осуществляя ее. <...>. Тех, кто говорит, что народ еще не созрел для демократии, я называю “просвещенными негодьями”».

Это сказано более трех десятков лет тому назад. А сколько раз после этого с государственных трибун и «интеллектуальных» амвонов цедили сквозь губу: народ к демократии не готов. Вот когда будет готов, тогда и введем ее. А пока его, больного, надо защитить от самого себя.

Людям нужно ощущение *res publica*, общего дела, того, что объединяет — снизу, не сверху, без государства. Тогда рождается гражданское общество, «общегражданская грамотность», люди научаются говорить и быть гражданами — именно эти процессы, несмотря на годы преобладания точки зрения «просвещенных негодяев», происходили до «спецоперации» на наших глазах.

Очень важно: «Государство, — говорил Мераб, — это проблема, а не решение».

В интервью журналистам из «Молодежи Грузии» в апреле 1989-го Мераб предупредил и снова безукоризненно точно пророчил: власть «водила людей за руку, не давала им вырасти — а вырасти можно только на риске и ответственности за свое дело. Миллионы людей будут проситься обратно “на ручки”, к опеке».

Не это ли мы наблюдаем последние более чем двадцать лет? «Демократия означает... разделение государства и общества... Государство — орган общества, не больше».

Главная проблема страны и ее истории — проблема гражданского общества: «...суть ее состоит в расщеплении, разрыве жесткой спайки государства и общества, в развитии самостоятельного общественного элемента, который, с одной стороны, являлся бы естественной границей власти, а с другой — не подпирался бы никакими государственными гарантиями и никаким иждивенчеством».

Мамардашвили никогда не хотел уезжать из страны. «Здесь видна суть вещей», — объяснял он Альтюссеру. В любом месте, признавался Мераб в более поздние, снова выездные времена, он чувствовал себя как дома. И в то же время: «Почему мы должны уехать? Пусть уезжают те, кто нам мешает нормально жить».

Тбилиси стал для него, возможно, отчасти местом ссылки, но ссылки желанной. Будучи космополитом, он все же был грузином.

Ситуация конца 1980-х выталкивала его в политику, чего он совершенно не хотел, как не желал быть знаменем и «носить отличительный колпак». Его конфликт с Гамсахурдиа был публичным. Как могли бы развиваться события, мы так и не узнали: Мераб умер на пороге новой эпохи, риски и ловушки которой он разложил по полочкам, оставив дорожную карту для гражданского общества. Не зная Мамардашвили, гражданское общество доходит до концепции его, единственного европейца в нашей сегодняшней интеллектуальной пустыне, своим умом. И своим усилием.

ОТ 1989-ГО К 9/11 И ПРИШЕСТВИЮ ТРАМПА: ТЕПЕРЬ ТОЧНО ВСЕМ КОНЕЦ?

Наступают 1990-е. Можно назвать этот период второй глобализацией, если считать, что ее предшественница состоялась до Первой мировой войны. Но, скорее, это третья глобализация, потому что послевоенное восстановление в «золотое тридцатилетие» после Второй мировой по-настоящему глобализовало мир и экономически, и идеологически.

Развал СССР и падение Берлинской стены дали мощный импульс глобализационным процессам. Тогда возникли некие ярлыки вроде «вашингтонского консенсуса», обозначающие единство движения посткоммунистических стран по пути рыночных реформ и некоторые базовые принципы трансформации: либерализацию цен и внешней торговли, снижение бюджетного дефицита, свободу внутренней торговли, приватизацию и так далее. Правда, когда наших реформаторов обвиняли в том, что они придерживались рецептов «вашингтонского консенсуса», выяснилось, что многие из них не знали, что это вообще такое.

Потом не для России, а для восточного блока были установлены другие критериальные принципы: Копенгагенские критерии — для вступления в Евросоюз (1993–1995 годы), Маастрихтские экономические критерии — для вступления в еврозону (договор вступил в силу в 1993-м). Возникли якоря, которые позволяли восточноевропейским странам идентифицировать себя как часть цивилизованного западного мира.

Появилась возможность передвигаться по миру. Как не раз отмечал Иван Крастев, вместо вертикальной мобильности в своей стране люди выбирали горизонтальную, географическую мобильность, просто уезжая за границу. Он приводит пример Болгарии: 25% эмигрировало, предпочтя другой тип карьеры — не внутри обновленной родины, а где-то за ее рубежами. Похожее происходило и у нас: советские люди активно уезжали. А кто-то адаптировался к рыночным обстоятельствам внутри страны.

Однако многие из тех, кто уехал, и тех, кто успешно приспособился к капитализму в России, остались потребителями, не став гражданами, то есть людьми, разделяющими универсальные ценности. Они поехали за благами цивилизации («колбасная эмиграция»), не восприняв ее фундаментальные принципы как свои собственные. Для многих из них Путин — образец правильного лидера.

Но, тем не менее, эта глобализация в первые ее годы была эйфорически позитивной. В 1990-е стало очевидно, что демократии между собой не воюют, и тема войны (за исключением Балкан и Чечни) ушла из массового дискурса. Майкл Ховард в своей книге о войнах назвал эту эпоху «постгероической»: люди не хотят ощущать себя героями, они хотят жить спокойно, выстраивать карьеру внутри общества потребления, а не воевать, потому что война прерывает нормальное и благополучное течение жизни. Так мы довольно долго и жили. Но сейчас в Россию вернулась «героическая» эпоха с ее обязательными врагами, внешними и внутренними, и архаическими принципами самоутверждения за счет насилия, крови и демонстрации мышц. И не просто вернулась, а имела своим следствием «специальную военную операцию».

Постсоветские государства, вступая в эпоху глобализации и конца истории, хотели «жить как на Западе» — это вполне внятное целеполагание: чтобы было все так, как «у них», в том числе двадцать сортов колбасы и двадцать кандидатов на любой пост. Запад казался идеальной моделью жизни. Но позже, когда на самом Западе возникли свои колоссальные проблемы, связанные с миграцией, популизмом, исламизацией, появлением *enfants terrible* вроде Трампа и Орбана, и множество других, — выяснилось, что идеальные образцы исчезли. И непонятно, на кого теперь ориентироваться. Это очень дезориентировало людей в России. По социологическим опросам Левада-центра можно увидеть, как меняются с годами ответы на вопрос: «Какой режим для вас предпочтительнее?» Сначала на лидерских позициях находилась опция «западный тип демократии», но к сентябрю

2021 года поддержка такой модели государственного устройства снизилась до очень скромных 16%. А советский образец постепенно наращивал вес, и вот результат: «поддержка плановой экономики» — 62%; «поддержка политического режима как в Советском Союзе» — 49%. Запад перестал быть образцом.

Начиная с десятых годов XXI века большое внимание стало уделяться теме неравенства — во всех смыслах, не только строго экономическом.

Проблема неравенства — одна из тех, что отменили конец истории. Ее следствием, например, было движение *Occupy Wall Street* (оно уже забыто, а было весьма заметным).

Вот знаменитая «Пирамида самодержавия» художника Лохова, нарисованная в 1901 году. Сверху: «Мы царствуем над вами». Чуть ниже: «Мы правим вами». Потом: «Мы морочим вас» — там расположены религиозные деятели, но сюда легко можно подставить федеральные телеканалы, например. Дальше вниз: «Мы стреляем в вас» — понятно, что сюда можно определить Росгвардию, ФСБ и остальные силовые конторы. «Мы едим за вас» — это, конечно, богатые классы. «Мы работаем за вас» — это те, кто находится внизу пирамиды.

Это пирамида первой глобализации, еще тех времен, которые считаются более или менее благополучными.

Похожая пирамида существует сейчас в ряде стран — и уж точно в России: есть царствующие, есть правящие, есть стреляющие, есть морочащие, есть и едящие, если говорить о концентрации богатств в руках немногих.

И вот на почве ощущения неравенства возник феномен Тома Пикетти с его «Капиталом в XXI веке» (*Le Capital au XXI^e siècle*) — все бросились читать эту книгу. Одновременно вдруг стал популярен «Капитал» Маркса, хотя, естественно, никто ничего в нем понять не мог: для современного человека это как каббалистические зашифрованные письма. Психологически это очень интересное явление — когда люди пытаются найти объяснение тому, что происходит с ними, хотя бы в какой-нибудь великой книге.

И Пикетти, надо сказать, ответил на этот вызов, связанный с желанием людей понять истоки неравенства в глобальном мире конца истории. В книге «Капитал и идеология» (*Capital et idéologie*), которая вышла в 2019 году, он показывает похожее на пирамиду Лохова устройство общества. До того, как частная собственность сделалась основным инструментом развития общества, существовало несколько политико-социальных слоев. Один слой — это *oratores* (те, кто молится; в наших понятиях — смесь федеральных телеканалов с Русской православной церковью), *bellatores* (те, кто воюет и стреляет: армия, ФСБ, Минобороны) и *laboratores* (те, кто работает). Потом, пишет Пикетти, появились активные отношения собственности. И уже собственность стала самым главным инструментом управления несчастными людьми, которые находятся внизу. Тот режим, который сформировался к нынешнему времени, Пикетти называет гиперкапитализмом. В его представлении военная легитимизация власти сменилась на собственническую. Это все очень плохо, нужно всех богачей-собственников обложить высокими налогами и двигаться к равенству. Но со своей российской колокольни мы видим: военная легитимизация власти прекрасно сосуществует с собственнической. И союз силовиков, являющихся одновременно обладателями собственности и денег, в результате приводит к военной экспансии.

Некоторые явления периода после конца истории возникали словно ниоткуда, а потом довольно быстро исчезали, хотя и оставляли заметный след.

Кто сейчас вспоминает арабские революции 2011 года, которые были одним из важнейших феноменов периода, начавшегося в 1989-м? Был момент, когда все поверили в глобальный левый поворот, который должен был бы охватить все страны. Но кто сейчас вспоминает испанское движение Indignados и партию Podemos, которые в начале десятых годов ворвались в большую политику, представляя новую левую повестку? Их успех оказался краткосрочным. Они проигрывают выборы, они уже не столь популярны в Испании. Все меняется. Оказывается, никто не

может сколько-нибудь точно предсказывать будущие предпочтения огромных масс людей.

Страхи по поводу популизма абсолютно оправданны; горы книг написаны, на конец 2010-х годов пришелся пик изучения популизма, и тоже казалось, что популизм будет всегда. Но сейчас естественным образом внимание переключилось на сюжеты «спецоперации» и ее последствий для Европы и мира.

Примета эпохи — приставка «пост-». Мы не умеем описывать сами себя и поэтому придумываем эти ярлыки: «постправда», «постмир». Тогда давайте введем понятие «постконец истории»: то состояние, в котором мы находимся, — необъяснимый мир.

Казалось, не будет проблемы важнее, чем активизация радикального исламизма, терроризм, международная террористическая организация-«государство» ИГИЛ. Не будет кошмарнее зрелища, чем 11 сентября 2001 года. Но вот пришли популисты, вот в США президентом стал Трамп, а вот Путин, уже «присоединивший» Крым, затеял свою беспрецедентную «спецоперацию» — и мир опять стал другим, погрузившись в кошмар какой-то уже постпостистории.

Венчают список изменение климата, перемены в энергобалансе — важнейшие проблемы для всего мира и уж тем более для российского политического и экономического режима.

Переживает кризис представительная демократия, причем не только в России, где выборы превратились в «недовыборы», фарс, в способ для граждан выразить собственное эмоциональное состояние при голосовании, аккламацию — то есть одобрение того, что за них уже решено. Кризис представительной демократии вполне заметен и в других государствах: падает явка на выборах, избиратели с трудом различают правое и левое, где-то растет популярность крайне правых. Но, опять же, это институт, который не исчезает. Это институт, который в западных демократиях продолжает функционировать и защищать основы западной цивилизации. Пришел Трамп — и Путин удивлялся: вроде президент должен решать все, а он ничего не может решить. Институты американской демократии, возможно, умнее

любых американских политиков, они являются страховочной сеткой для мира конца истории, который пытается поглотить черная дыра постистории. Ротация власти – вот что обеспечивается представительной демократией.

Демократия сопротивляется. Это означает, что институты конца истории еще работоспособны. И если они выдержат нетривиальные испытания последнего времени, может быть, конец истории в фукуямовском позитивном смысле все-таки произойдет.

История многосложна. В Берлине улица Руди Дучке перпендикулярна улице Акселя Шпрингера, с которым Дучке боролся. Там же рядом символическим образом расположены чекпойнт «Чарли» и небоскреб Акселя Шпрингера. Это потрясающее смешение исторических слоев и символов. Так формировался тот мир, в котором мы живем. Ему еще предстоит устоять перед новыми вызовами. Страной происхождения одного из них, к несчастью, является Россия. Не только миру, но и самой России предстоит пережить путинизм и его последствия и дожить до нового конца истории. В хорошем смысле этого слова.

Капитализм! Хоть имя дико...

Прошлое капиталистического устройства удивительно, настоящее великолепно, будущее — выше всех похвал

Мысль о кризисе западной цивилизации, закате Европы и вместе с ними — либерализма давно уже стала общим местом. Тем не менее и Запад стоит как скала, и Европа сопротивляется волнам популизма, и либерализм исправно поставляет товары и услуги потребителям. Возможно, дело в адаптивности капитализма, который тоже хоронят, и не в первый раз, а число книг о нем и его будущем растет. В издательстве Института Гайдара перевели две значимые книги о капитализме — фундаментальный двухтомник «Кембриджская история капитализма» и работу экономиста Пола Коллиера «Будущее капитализма».

Известное провокативное высказывание графа Александра Христофоровича Бенкендорфа: «Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается до будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение», пожалуй, применимо не столько к России, сколько к капитализму, который множество раз за свою историю доказывал, что он способен пережить любые кризисы. И выходит он из них обновленным и бодрым, готовым к новым приключениям. Любые попытки заменить политическими ли, этическими ли средствами этот не самый приятный и глубоко эгоистический в своей основе уклад заканчиваются, как правило, большой кровью и (или) исчезновением товаров народного потребления.

Моральный кодекс строителя капитализма

Адаптивность, по существу, главное свойство капитализма, который, как хамелеон, на протяжении своего существования

менял цвет. Например, послевоенный золотой век, точнее, четверть века (1945–1970) восстановления и процветания европейских экономик — это капитализм розового цвета, или, как его квалифицирует Пол Коллиер, «социал-демократический» капитализм. В нем было много этической и социальной ответственности, которая проистекала из жестокого опыта двух мировых войн и стремления избежать кризисов образца Великой депрессии.

На что Коллиер не обращает внимания, так это на одну из важнейших причин социальной ориентированности послевоенной капиталистической системы: опасаясь повторения катастрофического опыта депрессии и установления тоталитарных режимов, правительства уделяли огромное внимание поддержке занятости (безработица была одним из триггеров политических потрясений и роста популярности фашизма) и социальному страхованию.

Об этом писал знаменитый историк Эрик Хобсбаум в своем фундаментальном труде «Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век (1914–1991)». Выходил капитализм и из культурных кризисов, олицетворением которых стал 1968 год: западная цивилизация впитала протестную культуру и превратила ее из чужой в свою, продолжив путь к 1989 году, к временному «концу истории».

Кризисы сопровождают историю капитализма, именно поэтому философы, историки и, конечно, экономисты писали и будут писать книги и статьи под одинаковым заглавием — «Будущее капитализма». Оно беспокоило многих, включая выдающегося экономиста Лестера Туроу, который опубликовал книгу *The Future of Capitalism: How today's economic forces shape tomorrow's world* в 1997 году и предсказал практически все тренды сегодняшнего дня — от «эпохи искусственной интеллектуальной промышленности» до «социальных вулканов: религиозного фундаментализма и этнического сепаратизма» и

периода «демократии против рынка». Не новы и попытки придать капитализму дополнительные моральные опоры, чтобы поумерить аппетиты *homo economicus*, существа грубого и реагирующего на сугубо ценовые сигналы, — собственно, об этом книга «Будущее капитализма» Пола Коллиера, где он ратует за инклюзивную политику и «восстановление общества для всех». В этом смысле Коллиер, чью книгу впору было бы назвать «Моральный кодекс строителя капитализма», смыкается с другим грандом сегодняшней экономической науки, Томом Пикетти. Впрочем, в «Капитале и идеологии» исследователь неравенства именует этот идеальный строй будущего «социализмом участия» — в противовес доминирующему в современном мире и ненавистному ему гиперкапитализму.

Капитализм — один, совсем один...

Впрочем, другой сколько-нибудь работоспособной общественно-экономической формации (воспользуемся привычным марксистским термином) у нас для вас нет. Об этом еще один исследователь неравенства, Бранко Миланович, написал книгу с характерным заглавием *Capitalism, Alone*, которое можно было бы перевести с грустной элегической ноткой как «Одинокий капитализм» или «Капитализм, один».

Один, совсем один, потому что, отмечает Миланович, человечество привычным образом, как ни крути, разговаривает на одном универсальном эсперанто — языке денег и прибыли. Ларри Нил, редактор «Кембриджской истории капитализма», профессор Университета Иллинойса и Лондонской школы экономики, указывает на свойства, присущие всем разновидностям капиталистической системы: «...1. права частной собственности; 2. договоры, исполнение которых обеспечивается третьими сторонами; 3. рынки с чуткими ценами и 4. оказывающее поддержку правительство. Каждый из этих элементов должен взаимодействовать с капиталом...»

У Бранко Милановича капитализм, одержавший «глобальную победу», в том числе ставший основным двигателем глобализации, определяется так: «Весь мир сегодня функционирует в соответствии с одними и теми же экономическими принципами — производство организовано для получения прибыли при законном использовании свободного наемного труда и преимущественно частного капитала на основе децентрализованного сотрудничества» (перевод мой. — А. К.). При этом Миланович подразделяет капитализм на «либеральный меритократический (западный)» и «государствозависимый (*state-led*) политический». Вторая, авторитарная разновидность, замечает экономист, получает в последние годы все более широкое распространение — от России до Руанды.

Почему вторая версия становится столь популярной? Ларри Нил, цитируя работу Джона Хикса «Теория экономической истории» (1969), отмечает, что рыночный тип экономики во все не преобладает в истории. Нам, пережившим недавно пандемию, тем более понятно, что «сталкиваясь с потрясениями, будь то природные катаклизмы, военные вторжения или чума, общества естественным образом стремились отреагировать на них командной экономикой, чтобы как можно скорее мобилизовать ресурсы для противодействия новой проблеме. <...>. Потому рыночная экономика всегда будет в опасности».

Наихудшая форма, кроме всех остальных

Для чего при капитализме существует государство? Ответ Коллиера банален: для «заделывания социальных трещин, вызываемых структурными сдвигами». (Это и есть устранение провалов рынка.) Для того чтобы устанавливать драконовские налоги на богатых, отвечает Пикетти, которого все-таки трудно всерьез читать и тем, кто 40–50 лет назад проходил в вузах курс научного коммунизма, и тем, кто знаком по другим книгам с опытом раскулачивания и национализации.

Все авторы всех книг и статей о капитализме говорят о неравенстве — региональном, образовательном, доходном, имущественном. «Главное достоинство капитализма — его способность обеспечивать устойчивый рост уровня жизни для всех — оказалось под вопросом», — пишет Пол Коллиер. Какое-то внимание уделяется неравенству доступа к разнообразным благам и инфраструктурам. Но совсем не обращают внимания на неравенство прав, в том числе свобод человека и гражданина, среди прочего — политических прав. А это уже кейс в том числе России, где командные высоты занял государственный капитализм, в терминах Милановича — «политический». Капитализм можно улучшить с помощью этики и «морального государства» — посмотрим на этот тезис Коллиера скептически, но согласимся. А как быть со связью успешного рынка и работающего капитализма с политической демократией? У Коллиера есть ответ, правда слишком лаконичный: «Моральная и прагматическая политика возможна только тогда, когда в обществе имеется критическая масса граждан, требующих такой политики». Это прекрасно, но что если эта критическая масса просто не имеет достаточных инструментов, чтобы требовать такой политики: свободы собраний, свободы слова, эффективно работающих выборов, обеспечивающих репрезентацию мнений всех граждан?

Как демократия, по Черчиллю, является наихудшей формой правления, если не считать остальных, так и капитализм — наихудшая форма организации коллективной жизни людей, если не считать всех остальных. Всегда будут кризисы и проблемы, связанные с разными типами неравенства, а также борьба между бенефициарами глобального капиталистического устройства и теми, кто проигрывает от постоянного обновления внешней среды. Тем не менее, как пишут Ларри Нил и Джеффри Дж. Уильямсон в статье под названием... правильно, «Будущее капитализма» во втором томе «Кембриджской

истории», «стремительный экономический рост — это тот общий пирог, который делает всех участников более терпимыми к финансовым кризисам и конкурентному процессу подстройки экономики».

«Рост привлекательности капитализма для некапиталистических стран в период после 1848 года в огромной мере обусловливался индустриализацией и ростом душевого ВВП в ведущих капиталистических странах, — пишут Нил и Уильямсон. — В XXI веке потребуется то же самое».

С чем и согласимся.

Бомба для Сороса, нож для Макрона

В 1968 году на базе группы Баадера — Майнхоф возникла немецкая леворадикальная террористическая организация *Rote Armee Fraktion* — «Фракция Красной армии». Она была основана группой левых интеллектуалов, перешедших, по определению Ульрики Майнхоф, «от протеста к сопротивлению», а потом уже и от сопротивления к актам прямого действия — поджогам, убийствам, грабежам. Из этой организации ушло благородное возмущение войной во Вьетнаме и романтика антикапиталистического протеста и контркультуры 1960-х, остались только кровь и гибельное ожесточение подполья.

Словно зарифмовывая одну эпоху с другой, история спустя 50 лет, в 2018-м, предложила иные варианты: не леворадикальные акты прямого действия (французские наследники Баадера — Майнхоф именно так назвали свою организацию — *Action directe*), а праворадикальные. События того времени: бойня в синагоге в Питтсбурге, обнаружение в пригороде Нью-Йорка взрывного устройства в почтовом ящике дома Джорджа Сороса, потом практически одновременно — прямо к 100-летию окончания Первой мировой и братанию Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона — был раскрыт заговор военных в Германии, планировавших убийства политиков леволиберального

толка, и предотвращено покушение ультраправых энтузиастов на президента Франции.

Язык ненависти, тщательно пестуемая агрессия и идеологическая нетерпимость успешно переводятся на язык покушений на жизнь тех, кого люто ненавидят.

Нам ли не знать этого: череда убийств политиков и журналистов демократического направления — Галины Старовойтовой, Юрия Щекочихина, Сергея Юшенкова, Анны Политковской и других — не закончится выстрелом в спину Борису Немцову и отравлением Алексея Навального.

Политическое убийство отнюдь не изобретение новейшей истории, с него началась в том числе та самая Первая мировая. С конца второго десятилетия XXI века мы свидетели расширения пространства террористической борьбы — от исламистского террора к ультраправому. И это явление, столь ярко обозначенное символическим образом к 50-летию мая 1968 года в США, Франции, Германии, становится еще одним вызовом. Праворадикальные популисты заседают в парламентах и привлекают уже гораздо больше 10% голосов избирателей, а праворадикальные активисты, выращая и лелея ненависть, заготавливают оружие.

Психологически это та же самая эволюция, которая произошла с левыми радикалами в конце 1960-х, когда Запад переживал первый серьезный политический и социокультурный кризис послевоенной системы. С тем кризисом Запад в результате справился, сначала дожив до конца истории в 1989–1991 гг., а затем начав новую историю и войдя в 2016-м (с избранием Дональда Трампа президентом США) в еще один кризис. Только теперь леворадикальные протесты и атаки сменились праворадикальными, а левые партии и движения замещаются правопопулистскими.

Ульрика Майнхоф начинала как чрезвычайно яркий публицист, ее статьи в журнале *konkret* 1967–1968 годов читаются

сегодня как пылкий протест против капитализма, его войн, его медиа («шпрингеровская пресса») и социальной базы («напуганные бюргеры»). Это было еще совсем не кровавое время, и ненавидимых политиков забрасывали всего лишь молочными пакетами. Майнхоф возмущалась реакцией на молочную акцию: «Молочные продукты в пакетах сравнивать с бомбами и снарядами... это значит объявить войну детской игрой». Спустя всего лишь год сама Ульрика оставила детские игры в публицистику, как, впрочем, и своих собственных детей, и ушла в красный террор, соединенный с поездками на Ближний Восток и установлением «рабочих» связей с палестинскими террористами. У новой войны оказалось женское лицо бывшей марбургской студентки Ульрики Майнхоф или дочери протестантского пастора Гудрун Энслин, которая получила прекрасное образование и внешне напоминала скорее французскую певицу 1960-х, чем немецкую поджигательницу и террористку.

Нынешние праворадикальные заговорщики и бомбисты имеют куда менее утонченное происхождение и переходят к террору, минуя стадию университетского образования, интеллектуальных поисков и романтических увлечений.

Джордж Сорос заменил для сегодняшних радикалов целиком весь «жидомасонский заговор». А «протест» против активности миллиардера-филантропа, ставший в буквальном смысле массовым в некоторых странах, включая его родную Венгрию, оказался вульгарно антиинтеллектуальным и прямолинейно антисемитским. Лично Трамп даже допустил, что Сорос профинансировал в 2018 году марш мигрантов из Центральной Америки к границам США. Когда-нибудь это должно было закончиться не только изгнанием Центрально-Европейского университета, одного из детищ Сороса, из Будапешта (кстати, можно привести длинный список важнейших российских образовательных и культурных институций, обязанных своим возникновением и развитием Соросу, однако едва ли

теперь готовых вспоминать об этом), но и бомбой, заложенной в почтовый ящик.

Успех Макрона в 2017 и в 2022-м на президентских выборах во Франции стал символом неудачи (возможно, временной) европейского ультраправого реванша. За это его и не любят, так же как за то, что он взял на себя роль мотора переформулирования европейской идеи. И кого-то активность президента стимулировала к тому, чтобы вооружиться невидимым для металлодетекторов керамическим ножом.

У немецких военно-полевых заговорщиков было что-то вроде идеологии и даже эсхатологических представлений о том, что нынешние политики Германии ведут страну в пропасть. Список приговоренных ими к смерти весьма симптоматичен — это левые политики.

Кстати, в том же 2018-м заговорили о сравнительно новой версии громкого убийства в 1986 году премьер-министра Швеции, социал-демократа Улофа Пальме: покушение могли организовать шведские правые радикалы совместно с южноафриканскими спецслужбами (Пальме в течение некоторого времени возглавлял в Социнтерне комитет по Югу Африки, а в ЮАР в то время был режим апартеида). Вполне очевидные параллели с нынешними событиями, но в несколько других исторических декорациях.

Политическая радикализация и поляризация позиций становится общемировым трендом. Общества находятся в состоянии раскола: одни боятся миграции, другие — правых популистов.

Других лекарств от этих болезней, кроме институтов демократии, которые даже Трампу не дали развернуться на полную проектную мощь, коллективный Запад не знает. Собственно, их никто не знает. Предыдущие кризисы и «концы истории» капитализм западного образца преодолел, потому что срабатывали защитные механизмы. Когда-то один коллега

назвал сочетание рыночной экономики и сильной полиции основной нормально развивающихся обществ и государств. Полиция во всех кейсах 2018 года вполне успешно сработала как защитный экран западной демократии. Так бывает, когда органы и институты занимаются своим делом, не увлекаясь жестоким подавлением гражданского общества, а правила и нормы если не останавливают, то, по крайней мере, сдерживают деградацию, агрессию и пренебрежение человеческой жизнью, падающей в цене.

Армагеддон *live*

О том, как катастрофа 9/11 не изменила мир

Четыре самолета. Девятнадцать террористов. 2977 жертв. И выражение «мир после 9/11», смысл которого в том, что после террористической атаки 11 сентября 2001 года на нью-йоркский Всемирный торговый центр, вавилонские башни западной цивилизации, этот самый мир уже не будет прежним.

Прошло более двух десятков лет с момента катастрофы, токсичная белая пыль осела — мир иным не стал. В нем не прибавилось солидарности и любви даже тогда, когда пришла планетарная пандемия болезни, с которой человечество справиться не могло.

Поэзия после Освенцима невозможна, писал Теодор Адорно. Тем не менее воспроизводство человеческих слабостей (и главной из них — забвения) продолжается. Так у неунывающей ящерицы с короткой памятью отрастает хвост. Продолжается все та же жизнь и после 9/11 — остались лишь музеефицированные картины беспрецедентного ужаса в прямом эфире, Армагеддона *live*. И звукозапись лучшего в человеке: многочисленных признаний в любви тем, кто остается, от тех, кто понимает, что уходит — через минуты, если не секунды.

Апофеоз бесчеловечности благодаря этим оставшимся в эфире фразам: «Я просто хотел сказать, что люблю тебя», «Передай детям, что я люблю их» — обернулся торжеством человеческого в человеке.

Мир все равно регенерировался — как тот самый хвост ящерицы — и после Освенцима, и после атаки 9/11. И остался прежним. Возможно, он так же регенерируется и после вторжения Путина в Украину — катастрофы, разрушившей все правила человеческой жизни и искривившей историю не только России, но и мира.

9/11 — это был короткий эпизод солидарности. Благодаря этой солидарности казалось, что Россия навсегда стала частью того, что называлось цивилизованным миром. Потому что после террористического акта мир вдруг стал черно-белым: вот цивилизация, а вот варварство. Здесь — «Граунд Зеро», а там — обнуленная цивилизованность, разрушившая символы модернизированного мира в городе — символе модернизации.

В «Забриски-пойнт» Антониони героиня из мира контркультуры взрывала взглядом особняк своего босса, и на воздух взлетали пестрые осколки буржуазного мира. Спустя три десятилетия после «Забриски-пойнт» выяснилось, что буржуазный мир, впрочем, сильно изменившийся и прошедший этап адаптации ко всему новому, и есть цивилизация, если смотреть на него сквозь призму Армагеддона-2001. И существуют силы гораздо более опасные, чем юное создание, перешедшее на сторону контркультуры.

Эта сила, как и в случае с Освенцимом, была персонафицирована: Усама бен Ладен стал не Кинг-Конгом, а Гитлером нового времени. Продолжением Гитлера иными средствами, которое заявило не столько о хантингтоновском столкновении цивилизаций, сколько о столкновении цивилизации и варварства в ослепительно-синий нью-йоркский день, в режиме он-лайн, в прямом эфире — просто мечта Геббельса, вынужденно-го довольствоваться лишь радио.

Потом многословно утверждалось, что это ответ на американскую гегемонию, на навязывание одной цивилизацией своего образа жизни другой цивилизации. Но цивилизация потому и называется так, что она привлекает к себе людей мягкой силой и образом жизни. Атака 9/11 не была жестом отчаяния другой цивилизации, переутомленной глобализацией. Это был продуманный ответ всемирного варварства, которое проявило себя в 1999-м взрывом домов в Волгодонске, в 2002-м на Дубровке, в 2004-м в Беслане, потом в Мадриде, Париже, Ницце, Лондоне, Брюсселе... Оправдывать варварство чрезмерностью Америки и доллара и есть варварство, причем лукавое.

А затем на сторону варварства с теми же аргументами, что у террористов, воевавших с Америкой в 2001-м, перешел Путин. А вместе с ним, получается, и Россия.

Еще одно антропологическое свойство объединяет все-ленское зло образца 80-летней давности и варварство, явившее себя миру два десятилетия тому назад: персонажи, олицетворявшие зло, — самые обычные люди, ребята, живущие по соседству. Про террористов так и говорят очевидцы: это был вежливый, улыбчивый сосед, однажды помог заменить колесо (починить кран). Банальность зла, воплощенная, по Ханне Арендт, в исполнительном и изобретательном чиновнике, эффективном менеджере, оберштурмбаннфюрере СС Адольфе Эйхмане, распространяется и на тех парней, которые задумывали и реализовывали теракт 9/11, и на солдат, которые в разных войнах разных эпох совершали военные преступления.

Мухаммед Атта, направивший самолет на Северную башню, учился на архитектора (вот злая ирония истории) в Каире, а затем в Гамбурге. Марван аш-Шеххи тоже был гамбургским студентом, он направил самолет на Южную башню. Халид Шейх Мохаммед, организатор теракта, окончил университет в Северной Каролине по специальности «машиностроение». В конце концов, Басаев учился в Московском институте инженеров

землеустройства, а «террорист с пластиной в голове» Радуев был инструктором республиканского комитета ВЛКСМ...

11 сентября 2001 года (это был вторник) я набирал в тележку продукты, катая ее по бескрайним просторам чуда новой потребительской цивилизации — появившегося тогда в Москве большого торгового центра «Рамстор». Мне позвонил — по другому чуду новой цивилизации, мобильному телефону — взволнованный брат и сообщил, что началась Третья мировая война. По первым кадрам никто не мог толком понять, что происходит, но было полное впечатление конца света. Этот эпизод Третьей мировой был впечатляющим, но коротким. А между тем Третья мировая не останавливалась ни на минуту и, как подземный пожар, вырывалась наружу в разных точках земного шара. Только в Израиле атаки террористов-смертников следовали в 2001–2002 гг. одна за другой, гибли дети и старики, в том числе пережившие Холокост. А потом пережившие Холокост погибали в Украине.

Третья мировая подрывала ценностные основы цивилизации, и за минувшие годы много чего произошло: от волн миграции в Европу и тотального наступления популизма, от победы Трампа — до возникновения целого террористического «государства», чье население состоит из таких вот донельзя банальных «соседей».

Теракт 26 августа 2021 года в Кабуле, как и сама победа талибов, которых в России в 2022 году назвали «нормальными мужиками», — прямое продолжение атаки на башни-близнецы. (Само присутствие американцев в Афганистане и было обусловлено событиями в Нью-Йорке и охотой на бен Ладена; кстати, один из лидеров запрещенного в России и находящегося под санкциями ООН движения «Талибан» сообщил: нет никаких доказательств того, что Усама имел отношение к атаке на Всемирный торговый центр, — начинается «переписывание истории».) В этом смысле событие 9/11 действительно стало

точкой отсечения: что-то хрустнуло в позвоночнике посткоммунистического мира, жившего или пытавшегося жить внутри «конца истории». История явным образом началась заново. Внутри нее, этой новой истории, мы и живем.

«9/11 смотреть онлайн в хорошем качестве» — такую подсказку можно обнаружить в поисковой строке браузера. Событие стало музейной и туристической ценностью, и, если быть честным, оно забыто, несмотря на его определяющее значение для понимания того, что происходит в мире сегодня. Причем забыто, не будучи до конца осмысленным. Его внешняя шокирующая сторона — превращение компьютерной графики в реальность — заслонила смысл. Обыватель готов смотреть на обрушение башен-близнецов «в хорошем качестве» с попкорном, полагая, что его это не касается и не коснется никогда. Мир расколот на фракции, и в этом рассыпающемся мире стало возможным оправдание варварства как оскорбленной (вот только чем?) традиции. Комплекс неполноценности, пытающийся выдать себя за презрительное превосходство, — нет на свете психологического феномена опаснее. Это и спровоцировало бойню в Украине, поддержанную диванными войсками ленивых милитаристов, которые смотрят по телевизору кремлевские ток-шоу ненависти.

Фредерик Бегбедер, один из немногих писателей, сделавших попытку хоть как-то осмыслить феномен 9/11, в романе *Windows on the World* (2003) писал: «Арт Шпигельман нашел точное слово: он сказал, что ньюйоркцы обращали лица к Всемирному торговому центру, словно к Мекке. Может, эти башни заполняли какую-то духовную пустоту?» Может быть, заполняли — только пустоту не ньюйоркцев, а тех, кто затеял и реализовал самый чудовищный теракт в истории.

Кстати, Арт Шпигельман, знаменитый американский художник, чьи родители пережили Холокост, и его жена Франсуаза Мули сразу после теракта придумали совершенно

потрясающую обложку для журнала *The New Yorker*: просто черное пространство — и из него выплывает еще более черный, обозначающий зияющую пустоту силуэт башен-близнецов. Иллюстрация лишь подчеркивает нашу немоту, неспособность словесно отразить ошеломляющее событие. То же можно сказать об обложке, созданной к десятилетию катастрофы испанской художницей Анной Хуан: ночные небоскребы нижнего Манхэттена, башен-близнецов нет, но они, отсутствующие, отражаются в воде.

Как в каждом из нас.

Либерализм! Хоть имя дико...

Почему русский человек похож на г-на Журдена и является стихийным либералом (что внушает оптимизм, правда, очень сдержанный)

Переименовав поэта и философа, можно было бы сказать: «Либерализм! Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно». Значение термина разрослось до невероятных масштабов и включает в себя вообще все, что может не нравиться офицеру госбезопасности средней руки с его представлениями о том, как устроен мир. Иногда семантика слова не вполне соответствует реальному его содержанию: как в моем советском детстве обидчиков обзывали богатым словом «еврей», так и сейчас любого оппонента в любом публичном споре называют либералом.

Глава российского государства констатирует провал либерализма в мире, а его собственный, вполне управляемый коммунист Г. А. Зюганов называет правительство РФ либеральным, притом что его фактический глава Путин — антилиберал. Если же говорить о том, что происходит на самом деле, то никаких либералов в правительстве нет, а термин «сислибы» (системные либералы) безнадежно устарел: те, кто все еще

метится этим термином, — обыкновенные технократы, чья задача по возможности ликвидировать последствия иррациональных политических решений. Модель «умный еврей при дураке-губернаторе» тоже не подходит: никакой умник не в состоянии разобраться с проблемами разной степени долгосрочности, которые создает наше государство своей политикой.

Бывают ситуации иного рода, когда специалисты, например, отличают по невидимым миру признакам либерализм от республиканизма, что, впрочем, широкой, да и сравнительно узкой публике так просто не понять.

Вопрос о том, в каких пропорциях сочетаются либерализм и демократия, скорее, закрыт именно российским опытом: эксперименты с авторитарной модернизацией в жанре «русский Пиночет» — программа Грефа 2000 года, программы канувшего в Лету Института современного развития (ИНСОРа) времен президентства Дмитрия Медведева, «Стратегия-2020» и программа Алексея Кудрина 2017 года — не удалась. Итог этой бурной деятельности по улучшению режима изнутри таков: нет ни демократии, ни либерализма. А вот что есть, так это война и примитивная, архаичная псевдопатриотическая истерия.

«Я человек, я посредине мира...»

Самые современные споры либералов с антилибералами, тонны книг о капитализме, либерализме, популизме не выходят за пределы споров Сеттембрини и Нафты, героев «Волшебной горы» Томаса Манна, а это дискуссии начала 1920-х годов. Самые новомодные рефлексии о либерализме — это бесконечное переоткрытие уже открытого и перманентное переизобретение уже изобретенного.

Не выходит за пределы стандартного консервативного подхода и патриарх Кирилл, с каждым годом высказывающийся о либерализме все радикальнее и поверхностнее: «Поставление

самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если я в центре — что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя — это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог».

Это неточное понимание либерализма: не самого себя ставит либерал в центр, а просто человека. Другого человека. В известном смысле — в границах категорического императива Канта. А насчет того, кто есть бог в консервативной традиции, мы и так догадываемся — это тот самый «человек» из советского анекдота: «У нас все для блага человека, и этого человека мы знаем». Он — первое лицо в государстве.

Есть еще один «греховный» предмет, на который в божественной конструкции нашей власти мало обращают внимание — Конституция. Глава вторая Конституции — о правах и свободах человека и гражданина — как раз и показывает, кто находится, говоря словами Арсения Тарковского, «посередине мира» и как поведение человека и гражданина регулируется и в том числе законным образом ограничивается. (Ибо, как писал Альбер Камю, цивилизованный человек — это человек, который себя сдерживает.)

В либеральной традиции мыслящая субстанция — индивид — не человек толпы или стада. Консервативная власть не различает человека в толпе, потому что управляет именно стадами, окормляет своими ток-шоу массы и запугивает их призраками внешней угрозы и внутренней пятой колонны. Государству удобнее управлять бездумным электоратом, а не индивидуализированным избирателем. Не доставлять сервисы индивиду, а морочить голову телеаудитории. Не разговаривать с человеком, а наставлять паству. Не признавать индивидуальный пикет, а предоставлять отгул за добровольно-принудительное участие в митинге за Путина в «Лужниках».

Свободный человек не является частью массы, толпы, электората, рейтинговой телеаудитории, паствы, социологического

большинства. И в этом смысле он враг государства и находящейся в «симфонии» с ним церкви.

Не бывает успешной и с долгосрочными последствиями нелиберальной модернизации. Модернизация — это всегда вестернизация. Либеральная модернизация сочетается с капитализмом, то есть с рынком, но не с социализмом. Либеральная экономическая политика не может быть дирижистской, то есть находящейся в тени массивированных государственных интервенций. Либеральное государство устанавливает правила, следит за их соблюдением, предоставляет гражданину сервисы, а не только надзирает и наказывает и уж точно не является сакрализованным объектом поклонения.

Это прописи, азбука Буратино. Однако естественная среда обитания человека и гражданина — политическая демократия и свободный рынок. Все прочее — со времен Нафты и Сеттембрини — заканчивается кровью, лагерями, нищетой, отъемом частной собственности и дефицитом товаров народного потребления.

Сеттембрини и Нафта *revisited*

Однажды в Амстердаме была устроена открытая дискуссия между Бернаром Анри-Леви, ведущим публичным интеллектуалом Франции, настолько вездесущим, что его имя сокращено до *BHL*, и Александром Дугиным, идеологом евразийства и консервативной революции, по поводу которого на Западе думают, что консультацией с ним Путин начинает свой день. Дискуссия так и была представлена: спор современных Сеттембрини и Нафты. Надо сказать, что спор, как и любое такого рода шоу на сцене, получился несколько более поверхностным, чем разговоры двух обитателей давосского санатория. Но симптоматично то, что те же самые споры с теми же аргументами воспроизводятся спустя десятилетия.

Еще Жозеф де Местр на рубеже XVIII и XIX столетий определил круг врагов «порядка» — от масонов и евреев, демократов и либералов до якобинцев, антиклерикалов, журналистов, интеллектуалов, «всех тех, — писал Исайя Берлин, — кто полагается на индивидуальный разум или личное сознание, верит в свободу личности или рациональное устройство общества, всех реформаторов и революционеров».

Задолго до Нафты и Сеттембрини, Фукуямы и антифукуямовцев, Пикетти и антипикеттистов, Анри-Леви и Дугина споры сегодняшнего типа представил в виде диалогов в своем последнем произведении выдающийся русский философ Владимир Соловьев: его «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» увидели свет в год смерти мыслителя — 1900-м. Типаж либерала в диалогах представляет Политик. Иногда его реплики рисуются как поверхностно-забавные, а иной раз — как чрезвычайно серьезные, поскольку сам Соловьев был приверженцем философии прогресса и признавал, что, не разделяя многих взглядов этого своего персонажа, во многом с ним согласен, и даже вкладывал в его уста свою иронию: «...при неповрежденной-то голове нет надобности в повреждении руки, чтобы не подписывать разорительных сделок...» Антиевразийский пафос — ну хотя бы потому, что Соловьев ощущал опасность в «панмонголизме» (как раз чье имя «дико») — философ вложил в уста Политика, критикующего славянофилов и евразийцев за то, что «их отчуждению от Европы прямо пропорционально их тяготение к Азии». По мнению Политика, «настоящее существительное к прилагательному “русский” есть “европеец”».

При всей многосложности сегодняшней социокультурной и политической среды в России средний человек, проклиная либералов и отказываясь идентифицировать себя как европейца, оказывается в известном с XVII века положении мольеровского господина Журдена, не подозревавшего, что он

уже сорок лет говорит прозой: этот человек обнаруживает в магазинах еду и одежду и потребляет разными способами информацию лишь потому, что живет в хотя бы сколько-нибудь либеральной среде. И проживает в среде, созданной одним движением ненавидимого им Егора Гайдара, безоглядно смелым, но безальтернативным движением, произведенным 2 января 1992 года, — либерализацией цен, а затем введением свободы торговли. Эта среда создана также основами российской государственности — границами, демократическими институтами, рублем, наконец. Сам того, естественно, не подозревая, русский человек на *rendez-vous* с либерализмом является стихийным либералом. В споре Нафты и Сеттембрини он будет на стороне радетеля порядка, а жить повседневной жизнью, скорее, предпочтет во вселенной Сеттембрини, дающей свои практические и съедобные плоды.

Не случайно персонажи «Трех разговоров» Соловьева — пятеро русских — предпочитают вести свои беседы «в саду одной из тех вилл, что, теснясь у подножия Альп, глядятся в лазурную глубину Средиземного моря».

Впрочем, плохо, что из русского человека получился потребитель, но не гражданин. Потому и концы истории обречены на то, чтобы повторяться снова и снова.

ПОСТИСТОРИЯ: АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА РОССИИ

24 февраля 2022 года жестко и четко отделило прежнюю жизнь от новой, с ее постоянным депрессивным фоном и ощущением того, что всё, вообще всё, закончилось. Одним движением российский автократ смахнул со стола все достижения и переживания последних трех десятилетий. И не только их, но и в принципе всю жизнь — ее надежды и разочарования, концы истории и возобновление исторического процесса.

Наступила своего рода постистория, антропологическая катастрофа России: наша страна выглядит изгоем и территорией безнадежности, диким полем с ампутированным будущим. Проблема в том, что все-таки существенная часть россиян поддержала «спецоперацию» и оказалась готова к самоизоляции, к восприятию самых ужасных, архаичных ультраправых, фундаменталистских идей. А состояние изолированной экономики, примитивизация рынка труда, утечка мозгов, индоктринация молодежи путинизмом не оставляют сомнений в снижении качества человеческого капитала, главного двигателя творческой энергии в современном мире. Страна, противопоставляющая себя... нет, даже не Западу, не либерализму, а цивилизации и ее универсальным нормам и ценностям, испытает в ближайшие годы (или десятилетия?) упадок.

Антропологическая катастрофа, начавшаяся с гниения головы, так называемой элиты, означает для России очередной конец истории (в плохом смысле), а может быть, даже старт периода постистории, выпадения из нормативной системы цивилизованного мира.

Но что-то ведь начнется вновь, пусть даже пройдут не просто годы, а десятилетия. И тогда России, которую придется

выстраивать заново, понадобится тот самый человеческий капитал. Нормализацию России, выпрастывающейся из болота постистории, будут осуществлять молодые, образованные, разумные люди, составляющие человеческий капитал будущего. Эти люди есть, и они любят свою страну (а не режим, который присвоил себе право называться Россией) гораздо сильнее и ответственнее тех, кто учинил и одобрил «спецоперацию», начало катастрофы.

Это, возможно, банально, но в эпицентре катастрофы любые банальности приобретают статус мудрости: без просвещения и образования, без открытости Запада людям, живущим в России, не получится ничего.

Литература

Fukuyama F. *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2018.

Фукуяма Ф. *Идентичность. Стремление к признанию и политика неприятия*. М.: Альпина Паблишер, 2019.

Fukuyama F. *The End of History?* // *The National Interest*. Summer 1989. No. 16.

X (Kennan G. F.) *The Sources of Soviet Conduct* // *Foreign Affairs*. July 1947.

Kissinger H. *World Order*. London: Penguin Books, 2014.

Киссинджер Г. *Мировой порядок*. М.: АСТ, 2021.

Krastev I. *After Europe*. University of Pennsylvania Press, 2017.

Крастев И. *После Европы*. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018.

Krastev I., Holmes S. *The Light that Failed: A Reckoning*. Penguin Random House, 2019.

Müller J.-W. *What Is Populism?* University of Pennsylvania Press, 2016.

Мюллер Я.-В. *Что такое популизм?* М.: Издательский дом ВШЭ, 2018.

Арендт Х. *Опыты понимания. 1930–1954. Становление, изгнание и тоталитаризм*. М.: Изд-во Института Гайдара, 2018.

Арендт Х. *Ответственность и суждение*. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013.

Берлин И. *Философия свободы. Европа*. М.: Новое литературное обозрение, 2001.

Вайнен Р. *Долгий '68. Радикальный протест и его враги*. М.: Альпина нон-фикшн, 2020.

Гётц А. *Наша борьба. 1968 год: оглядываясь с недоумением*. М.: Мысль, 2018.

Горбаневская Н. *Полдень. Дело о демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади*. М.: Новое издательство, 2007.

Гэлбрейт Дж. *Новое индустриальное общество*. М.: АСТ, 2004.

Гэлбрейт Дж. *Общество изобилия*. М.: Олимп-Бизнес, 2018.

- Дарендорф Р. *Соблазны несвободы. Интеллектуалы во времена испытаний*. М.: Новое литературное обозрение, 2021.
- Кембриджская история капитализма*. В 2 т. М.: Изд-во Института Гайдара, 2021.
- Коукер К. *Сумерки Запада*. М.: Московская школа политических исследований, 2009.
- Мамардашвили М. *Вильнюсские лекции по социальной философии*. СПб.: Азбука, 2019.
- Мамардашвили М. *Европейская ответственность* / Пер. с фр. // Мамардашвили М. *Сознание и цивилизация*. СПб.: Азбука, 2019.
- Манн Т. «Королевское высочество», «Вошебная гора».
- Манн Т. *Письма*. М.: Наука, 1975.
- Маркузе Г. *Одномерный человек*. М.: REFL-book, 1994.
- Монне Ж. *Реальность и политика*. М.: Московская школа политических исследований, 2001.
- Музиль Р. «Человек без свойств».
- Мюллер Я.-В. *Споры о демократии*. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014.
- Тоффлер Э. *Метаморфозы власти*. М.: АСТ, 2009.
- Тоффлер Э. *Третья волна*. М.: АСТ, 2010.
- Хобсбаум Э. *Разломанное время. Культура и общество в двадцатом веке*. М.: Corpus, 2017.
- Хобсбаум Э. *Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век (1914–1991)*. М.: Corpus, 2020.
- Шпенглер О. *Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории*. Т. 1. Гештальт и действительность. М.: Мысль, 1993.

Фильмы

- Микеланджело Антониони — «Затмение» (1962), «Забриски-пойнт» (1970).
- Бернардо Бертолуччи — «Конформист» (1970), «Мечтатели» (2003).
- Лукино Висконти — «Леопард» (1963), «Гибель богов» (1969), «Семейный портрет в интерьере» (1974).

Андрей Колесников.

Новый мировой (бес)порядок: в ожидании конца истории. — Рига: Школа гражданского просвещения, 2023. — 168 стр. — (Серия «Своевременная мысль»).

ISBN 978-9934-9133-5-8